

Б И Б Л И О Т Е К А

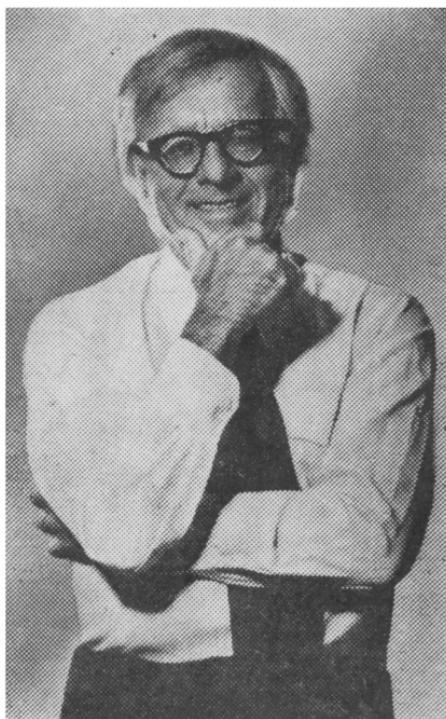
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 52

1983



Рэй БРЭДБЕРИ

**СПАСИТЕЛЬНИЦА
БРАКОВ**

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 52

Рэй БРЭДБЕРИ

СПАСИТЕЛЬНИЦА БРАКОВ

РАССКАЗЫ

*Перевод с английского
Ростислава Рыбкина*

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1983

Рэй БРЭДБЕРИ

Рэй Дуглас Брэдбери, известный американский писатель, рассказчик, романист, сценарист, драматург и поэт, родился в 1920 году в городке Уокиган в штате Иллинойс. Любовь к литературе проявилась у Брэдбери еще в детстве. Не получив высшего образования, он тем не менее приобрел энциклопедические познания благодаря чтению книг (Брэдбери называет себя «выпускником библиотек»). Печататься начал в 20 лет. В 50-е годы выходят книги Брэдбери, завоевавшие ему признание и популярность среди читателей на родине, а вскоре и за ее пределами — научно-фантастическая повесть «451° по Фаренгейту», цикл рассказов «Марсианские хроники», сборники «Человек в картинках», «Золотые яблоки солнца» и др.

Творчество Рэя Брэдбери, писателя-гуманиста, пользуется огромной популярностью и у нас в стране, где произведения его широко издаются и переиздаются.

Советские читатели знают и любят не только Брэдбери-фантаста, но и Брэдбери-реалиста, автора романа о детстве «Вино из одуванчиков» и многих замечательных реалистических рассказов. К числу последних принадлежат и рассказы, предлагаемые ниже вниманию читателя. Хотя они написаны в разное время, на разные темы и в разных творческих манерах, их отличают свойственные Брэдбери уважение к человеческой жизни и достоинству, глубокая симпатия к труженнику.

ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО

Идея была такая гениальная, такая немислимо восхитительная, что я, катя по Америке, от радости уже не соображал ничего.

Не знаю почему, но в голову мне она пришла на сорок восьмой день моего рождения. Почему на сорок восьмой, а не тридцатый или сороковой, сказать трудно. Может, потому, что те годы были хорошими и я проплыл сквозь них, не замечая ни времени и часов, ни инея, оседающего у меня на висках, ни львиного взгляда знаменитости, который у меня появился...

Так или иначе, но в свой сорок восьмой день рождения, когда я рядом со спящей женой лежал ночью в постели, а мои дети спали во всех остальных тихих и залитых лунным светом комнатах моего дома, я подумал:

Встану, поеду и убью Ральфа Андерхилла.

Ральфа Андерхилла?! — воскликнул я. Бог мой, да кто он такой есть?

Убить его спустя тридцать шесть лет? За что?

Как за что? За то, что он со мною делал, когда мне было двенадцать лет.

Через час, услышав что-то, проснулась моя жена.

— Это ты, Дуг? — подала она голос. — Что ты делаешь?

— Собираюсь в дорогу, — ответил я. — Я еду.

— А-а, — пробормотала она, перевернулась на другой бок и уснула.

— Скорей! П посадка заканчивается! — громко закричал проводник.

Поезд дернулся и лягнул.

— Пока! — крикнул я, вскакивая на подножку.

— Хотя бы когда-нибудь, — закричала жена, — полетел!

Полетел? И лишил себя возможности всю долгую дорогу обдумывать убийство? Возможности смазывать неспеша пистолет, заряжать его и думать о том, какое лицо будет у Ральфа Андерхилла,

когда, через тридцать шесть лет, я возникну перед ним, чтобы свести старые счеты? По л е т е л? Да я скорей пойду пешком через всю страну, и, останавливаясь на ночлег, буду разжигать костры и поджаривать на них свою желчь и прокисшую слюну, и буду опять есть свои старые, высохшие, как мумии, но все еще живые обиды и трогать синяки, которые не зажили до сих пор. По л е т е л!

Поезд тронулся. Моя жена исчезла.

Я ехал в Прошлое.

На вторую ночь, проезжая через Канзас, мы попали в потрясающую грозу. Я не ложился до четырех утра, слушал, как беснуются громы и ветры. Когда стихии разбушевались дальше некуда, я увидел свое лицо, негатив его, на холодном стекле окна и подумал:

Куда едет этот дурак?

Убивать Ральфа Андерхилла.

За что? А за то! Помнишь, как он бил меня? До синяков. Обе мои руки были в синяках, от самого плеча; в синих синяках, черных в крапинку, каких-то странных желтых. Ударит — и убежит, таков он был, этот Ральф, ударит — и убежит...

И, однако, ты любил его?

Да, как мальчики любят мальчиков, когда мальчикам восемь, десять, двенадцать, и мир невинен, а мальчики злее злого, ибо не ведают, что творят, но творят все равно. И, видно, где-то в потаенных глубинах души мне было обязательно нужно, чтобы мне причиняли боль. Мы, «закадычные друзья», нуждались друг в друге. Ему нужно было бить. Мне — быть битым. Мои шрамы были эмблемой нашей любви.

За что еще хочешь ты убить Ральфа через столько лет?

Резко закричал паровозный гудок. Ночная страна бежала мимо.

И я вспомнил, как одной весной пришел в школу в новом костюмчике из твида и Ральф сбил меня с ног и вывалял в буром месиве грязи и снега. И он смеялся, а я, готовый провалиться сквозь землю, перепачканный с головы до ног, напуганный предстоящей взбучкой, побрел домой переодеться в сухое.

Вот так! А еще что?

Помнишь те глиняные фигурки персонажей из радиопьесы о Тарзане, которые тебе так хотелось иметь? Тарзан, обезьяна Кала, лев Нума — любая фигурка стоила всего двадцать пять центов! Да-да! Они были неопишимо прекрасны! О, вспомнить только, как где-то вдалеке, в зеленых джунглях, путешествуя по деревьям, завывал обезьяно-человек! Но у кого в самый разгар Большой Депрессии нашлось бы двадцать пять центов? Ни у кого.

Кроме Ральфа Андерхилла.

И однажды Ральф спросил тебя, не хочешь ли ты получить одну из этих фигурок.

— Хочу ли! — воскликнул ты. — Конечно, конечно!

Это было в ту самую неделю, когда твой брат в странном приступе любви, смешанной с презрением, отдал тебе свою старую, но дорогую бейсбольную перчатку.

— Ну, что ж, — сказал Ральф, — я дам тебе лишнюю фигурку Тарзана, если ты отдашь мне бейсбольную перчатку.

Ну и дурак же ты, сказал я себе. Фигурка стоит двадцать пять центов. Перчатка — целых два доллара! Это нечестный обмен! Не меняйся!

Но все равно я помчался с перчаткой назад домой к Ральфу и отдал ее ему, а он, улыбаясь еще презрительней, чем мой брат, протянул мне глиняного Тарзана, и я, переполненный радостью, побежал домой.

Брат узнал про бейсбольную перчатку и глиняного Тарзана только через две недели и, когда узнал, бросил меня одного за городом, среди фермерских полей, куда мы с ним отправились на прогулку, и ушел — бросил за то, что я такой остолоп. «Фигурки Тарзанов ему понадобились, бейсбольные перчатки! — бушевал он. — Больше ты не получишь от меня ничего и никогда!»

И где-то на сельской дороге я бросился на землю и разрыдался: мне хотелось умереть, чтобы вместе с рвотой меня покинула и моя несчастная душа.

Снова забормотал гром.

На холодные окна пультмана падал дождь.

Что еще? Или список закончен?

Нет. Еще одно, последнее, страшной всего остального.

За все те годы, когда в шесть утра Четвертого июля * ты прибегал к дому Ральфа бросить камешки в его окно, покрытое каплями росы, или в конце июля или августа звал его в холодную утреннюю голубизну станции смотреть, как прибывает на рассвете цирк, за все эти годы он, Ральф, ни разу не прибежал к твоему дому.

Ни разу ни он и никто другой не доказал своей дружбы тем, что пришел к тебе. Ни разу никто не постучался в твою дверь. Окно твоей комнаты ни разу не вздрогнуло и не зазвенело глуховато от брошенного в стекло конфетти из комочков сухой земли и мелких камешков.

И ты твердо знал, что в тот день, когда ты перестанешь бегать к дому Ральфа, встречаться с ним на заре, ваша дружба кончится.

Однажды ты решил проверить. Не приходил целую неделю. Ральф ни разу не пришел к тебе. Было так, как если бы ты умер и никто не пришел к тебе на похороны.

Вы с Ральфом виделись в школе — и никакого удивления, ни вопроса. Самой маленькой шерстинки не хотело снять с твоего

* Четвертое июля — День Независимости, национальный праздник США. — Прим. переводчика.

пиджака его любопытство. Где ты был, Дуг? Ведь должен я кого-нибудь бить! Где ты пропадал, Дуг? Мне некого было шипать!

Сложи все эти грехи вместе. Но особенно задумайся над тем, последним.

Он ни разу не пришел ко мне. Ни разу не послал ранним утром песни к моей постели, не швырнул в чистые стекла свадебный рис гравия, вызывая меня на улицу, в радость летнего дня.

И за это последнее, Ральф Андерхилл, думал я, сидя в вагоне поезда в четыре часа утра, когда гроза стихла, а у себя на глазах я почувствовал слезы, за это, последнее и переполнившее чашу, я завтра вечером тебя уничтожу.

Убью, подумал я, через тридцать шесть лет. О господи, да я безумней Ахава!

Поезд надрывно завопил. Мы неслись по равнине, как механическая, на колесах, греческая Судьба, увлекаемая черной металлической римской Фурией.

Говорят, что вернуться в Прошлое нельзя.

Это ложь.

Если тебе посчастливилось и ты рассчитал все правильно, ты прибудешь на закате, когда старый городок полон золотого света.

Я сошел с поезда и зашагал по Гринтауну, потом остановился перед административным зданием; оно пылало пламенем заката. Деревья были увешаны дублонами. Крыши, карнизы и лепка были чистейшая медь и старое золото.

Я сел на скамейку в сквере перед административным зданием, среди собак и стариков, и сидел там, пока не зашло солнце и в Гринтауне не стало темно. Я хотел насладиться смертью Ральфа Андерхилла сполна.

Такого преступления не совершал еще никто.

Я побуду здесь, совершу убийство и уеду, чужой среди чужих.

Кто, увидев тело Ральфа Андерхилла на пороге его дома, посмеет предположить, что какой-то двенадцатилетний мальчик, которого послало в дорогу немислимое презрение к себе, прибыл сюда не то на поезде, не то на машине времени и выстрелил в Прошлое? Такое представить себе невозможно! Само мое безумие было мне наилучшей защитой.

Наконец, в восемь часов тридцать минут этого прохладного октябрьского вечера я встал и отправился на другой конец городка, за овраг.

Я ни на миг не усомнился в том, что Ральф по-прежнему здесь. Ведь, вообще-то, случается, что люди и переезжают...

Я свернул на Парковую улицу, прошел двести ярдов до одинокого фонарного столба и посмотрел напротив, на другую сторону. Белый двухэтажный викторианский дом Ральфа Андерхилла ждал меня.

И я чувствовал, что Ральф Андерхилл в этом доме.

Он был там, сорокавосьмилетний, точно так же, как здесь был я, сорокавосьмилетний и полный старости, усталой и себя самое пожирающей отваги.

Я шагнул в тень, открыл чемодан, переложил пистолет в правый карман пальто, запер чемодан и спрятал в кустах, чтобы потом, позднее, подхватить его, спуститься в овраг и через городок вернуться на станцию.

Я перешел улицу и остановился перед домом, это был тот же самый дом, перед которым я много раз стоял тридцать шесть лет тому назад. Вот окна, в которые, самоотреченно любя, я, как букеты весенних цветов, швырял камешки. Вот тротуары, с пятнами от щупих, сгоревших в незапамятно древние Четвертые июля, когда мы с Ральфом, ликующе визжа, взрывали к черту весь этот проклятый мир.

Я поднялся на крыльцо и увидел на почтовом ящике надпись мелкими буквами: АНДЕРХИЛЛ.

Нет, подумал я, он сам, собственной персоной, неотвратимо, как в греческой трагедии, откроет дверь, примет выстрел и, почти благодарный, умрет за старые преступления и меньшие грехи, каким-то образом тоже ставшие преступлениями.

Я позвонил.

Узнает ли он меня, через столько лет? За миг до первого выстрела назови, о б я з а т е л ь н о назови ему свое имя. Нужно, чтобы он знал.

Молчание.

Я позвонил снова.

Дверная ручка заскрипела.

Я дотронулся до пистолета в кармане, но его не вынул: сердце мое билось гулко-гулко.

Дверь отворилась.

За ней стоял Ральф Андерхилл.

Он заморгал, взглядываясь в меня.

— Ральф? — сказал я.

— Да?.. — сказал он.

Мы простояли друг против друга не больше пяти секунд. Но, боже мой, за эти пять молниеносных секунд произошло очень многое.

Я увидел Ральфа Андерхилла.

Увидел его совсем ясно.

А не видел я его с тех пор, как мне исполнилось двенадцать лет.

Тогда он высился надо мною башней, молотил меня кулаками, избивал меня и на меня орал.

Теперь это был маленький старичок.

Мой рост — пять футов одиннадцать дюймов.

Но Ральф Андерхилл со своих двенадцати лет почти не вырос.

Человек, который стоял передо мной, был не выше пяти футов двух дюймов.

Теперь я возвышался башней над ним.

Я ахнул. Вгляделся. Я увидел больше.

Мне было сорок восемь.

Но у Ральфа Андерхилла, тоже в сорок восемь, половина волос выпала, а те, седые и черные, что оставались, были совсем редкие. Выглядел он на все шестьдесят, а то и шестьдесят пять.

Я был здоров.

Ральф Андерхилл был бледен как воск. По его лицу было видно: уж он-то хорошо знает, что такое болезнь. Он будто побывал в какой-то стране, где никогда не светит солнце. Лицо у него было изможденное, глаза и щеки впалые. Дыхание отдавало запахом погребальных цветов.

Когда я это увидел, молнии и громы прошедшей ночи будто слились в один слепящий удар. Мы с ним стояли посередине взрыва.

Так вот ради чего, зачем я пришел, подумал я. Вот, значит, какова истина. Ради этого страшного мгновения. Не ради того, чтобы вытащить оружие. Не ради того, чтобы убить. О, вовсе нет. А только чтобы...

Увидеть Ральфа Андерхилла таким, каким он теперь стал.

Вот и все.

Просто побыть, постоять и посмотреть на него такого, какой он есть.

В немом удивлении Ральф Андерхилл поднял руку. Его губы задрожали. Взгляд заметался по мне вверх — вниз, разум мерил этого великана, чья тень легла на его дверь. Наконец, послышался голос, тихий, надтреснутый:

— Это... Дуг?

Я отпрянул назад.

— Дуг? — от изумления он разинул рот. — Ты?

Этого я не ждал. Ведь люди не помнят! Не могут помнить! Через столько лет? К чему ему ломать себе голову, вспоминать, узнавать, называть по имени?

Мне вдруг пришла в голову безумная мысль: жизнь Ральфа Андерхилла пошла под откос с моим отъездом. Я был сердцевинкой его мира, был словно создан для того, чтобы меня били, тузили, колошматили, награждали синяками. Вся жизнь его расплозлась по швам просто оттого, что тридцать шесть лет тому назад я встал и от него ушел.

Чушь! И однако какая-то крохотная полоумная мышка мудрости носилась в моем мозгу и пищала: Ральф был нужен, но еще больше ты был нужен ему! И ты совершил единственный непростительный, убийственно жестокий поступок! Ты исчез.

— Дуг? — сказал он снова, ибо я, на крыльце, безмолвствовал, и руки мои висели, как плети, вдоль тела. — Это ты?

Ради этого мгновения я и приехал.

Своею кровью где-то глубоко-глубоко я всегда знал, что не воспользуюсь оружием. Да, оно со мной, это верно, но Время опередило меня и прибыло раньше, и не только оно, но и возраст, и меньшие, более страшные смерти...

Бах.

Шесть выстрелов в сердце.

Но пистолетом я не воспользовался. Только губы мои прошептали звук выстрелов. С каждым выстрелом лицо Ральфа Андерхилла старело на десять лет. Когда мне оставалось выстрелить в последний раз, ему было уже сто десять.

— Бах,— прошептал я.— Бах. Бах. Бах. Бах. Бах.

Каждый выстрел встряхивал его тело.

— Ты убит. О боже, Ральф, ты убит.

Я повернулся, сошел с крыльца и оказался на тротуаре, и только тогда он подал голос:

— Дуг, это ты?

Я уходил, не отвечая.

— Ответь, а? — Голос его дребезжал.— Дуг! Дуг Сполдинг, это ты? Кто это? Кто вы?

Я отыскал в кустах чемодан, спустился в полные стрекота кузнечиков ночь и темноту оврага, а потом зашагал через мост, вверх по лестнице и дальше.

— Кто это? — донесся до меня в последний раз его рыдающий голос.

И только отойдя далеко, я оглянулся.

Все окна в доме Ральфа Андерхилла были ярко освещены. Похоже было, что после моего ухода он обошел все комнаты и везде зажег свет.

Поднявшись из оврага на другой стороне, я остановился на лужайке перед домом, где родился.

А потом поднял несколько камешков и сделал то, чего не сделал никто, ни единого раза, за всю мою жизнь.

Я бросил эти камешки в окно, за которым лежал каждое утро первых моих двенадцати лет. Я прокричал свое имя. Голосом друга я позвал себя выйти играть в долгом лете, которое осталось в прошлом.

Я простоял ровно столько времени, сколько другому, иному мне потребовалось, чтобы вылезти из окна и ко мне присоединиться.

Потом быстро, опережая зарю, мы выбежали из Гринтауна и помчались, благодарение господу, помчались назад, в Сегодня и Сейчас, чтобы пребыть там до последних дней моей жизни.

ДУШКА АДОЛЬФ

Они ждали, чтобы он вышел. Он сидел в маленьком баварском кафе с видом на горы, попивая пиво, и находился он там с полудня, а уже половина третьего, обед затянулся, выпито много пива, и по тому, как он держал голову, как смеялся и как поднимал очередную глиняную кружку с шапкой пены, пузыри которой лопались на легком весеннем ветерке, было видно, что настроение у него великолепное, и двое, сидевшие с ним за одним столиком, старались от него не отставать, но все равно были далеко позади.

Время от времени ветер доносил их голоса, и тогда кучка людей, дожидавшаяся его на автомобильной стоянке около кафе, подавалась вперед, пытаясь расслышать лучше. Что он сказал? А теперь что?

— Сказал, что дело подвигается.

— Какое, где?!

— Дурак! Фильм, съемка подвигается — а ты думал что?

— Это режиссер с ним сидит?

— Да. А другой, хмурый — продюсер.

— Не похож на продюсера.

— И неудивительно! Он сделал себе пластическую операцию носа.

— А вот тот совсем как настоящий, правда?

— До последнего волоска.

И опять подавались вперед, чтобы рассмотреть получше троих за столиком, продюсера, не похожего на продюсера, застенчивого режиссера, который, поглядывая на столпившихся около кафе, вжимал голову в плечи и закрывал глаза, и человека между ними в военной форме со свастикой на рукаве, чья высокая фуражка лежала на столе, рядом с едой, почти не тронутой потому, что человек этот говорил — произносил речь.

— Фюрер, настоящий!

— Боже мой, кажется, будто это было только вчера! Трудно поверить, что сейчас тысяча девятьсот семьдесят третий год. Вдруг снова тридцать четвертый, когда я впервые его увидел.

— Где?

— На митинге в Нюрнберге, на стадионе, когда была осень, да, мне исполнилось тринадцать, и я, член «Гитлер-югенд», стоял среди ста тысяч солдат и юношей на этом огромном поле вечером, еще до того, как зажгли факелы. Столько оркестров, столько флагов, столько восторженно стучащих сердец, да, поверьте мне, я слышал, как сто тысяч сердец поют в унисон, мы все были влюблены в него, он спустился с облаков. Его послали к нам боги, мы это знали, пора ожидания кончилась, отныне мы могли действовать, с ним мы могли все.

— Интересно, как чувствует себя, играя его, этот актер?
— Т-сс, он тебя слышит. Смотри, машет рукой! Помаши в ответ.
— Помолчи,— сказал кто-то.— Они опять разговаривают. Я хочу послушать.

Все замолчали. И мужчины и женщины подались вперед, наклонились в ласковый весенний ветер, доносивший голоса из кафе.

У юной официантки, подававшей пиво, покраснели щеки, горели глаза.

— Еще пива! — сказал человек с усиками, как зубные щетки, и волосами, зачесанными на левую сторону лба.

— Спасибо, нет,— сказал режиссер.

— Нет-нет,— отказался продюсер.

— Еще пива! День замечательный,— не отступался Адольф.— Тост за фильм, за нас, за меня. Пьем!

Те двое взялись за свои кружки.

— За фильм,— сказал продюсер.

— За душу Адольфа.— Эти слова режиссера прозвучали бесстрастно.

Человек в военной форме замер.

— Я не смотрю на себя... — он загнулся, — на него как на душку.

— Он-таки был душка, самый настоящий, а ты просто прелесть.— Режиссер залпом выпил пиво.— Ничего, если я напьюсь?

— Напиваться допьяна воспрещается,— сказал фюрер.

— Где об этом сказано в сценарии?

Продюсер незаметно толкнул режиссера под столом ногой.

— Как, по-твоему, сколько еще недель нам снимать? — спросил продюсер очень вежливо.

— По-моему, мы закончим фильм,— ответил, делая огромные глотки, режиссер,— смертью Гинденбурга или дирижаблем «Гинденбург», как он вспыхивает и падает в Лейкхерсте, штат Нью-Джерси — что раньше, тем пусть и кончится.

Адольф Гитлер наклонился к тарелке и начал быстро и жадно есть мясо с картофелем.

Продюсер тяжело вздохнул. Режиссер решил успокоить страсти.

— А после этого, еще через три недели, шедевр будет уже в железной коробке, и мы поплывем домой на «Титанике», столкнемся с критиками и, дружно распевая «Дойчланд юбер аллес», пойдем ко дну.

Неожиданно все трое набросились на еду и теперь поглощали ее, кусали и пережевывали, и по-прежнему ласково дул весенний ветерок, а снаружи стояли и ждали люди.

Наконец фюрер перестал есть, глотнул еще пива и, прикоснувшись мизинцем к усикам, откинулся в кресле.

— В такой день ничто не выведет меня из себя. То, что отсняли вчера, просто превосходно. А какие актеры подобраны для этого

фильма! Геринг неподражаем. Геббельс? Само совершенство! — Полоса солнечного света сдвинулась с его лица. — Итак... Итак, вчера вечером я думал: вот я в Баварии, я, чистокровный ариец...

Его спутников передернуло, но они ждали, что он скажет дальше. — ...и делаю фильм,— тихо посмеиваясь, продолжал Гитлер,— вместе с евреем из Нью-Йорка и евреем из Голливуда. Как забавно!

— Меня не забавляет,— отозвался режиссер. Казалось, что он думает совсем о другом.

Во взгляде, который бросил на него продюсер, можно было прочитать: «Осторожнее, фильм еще не закончен».

— И я подумал: а ведь неплохо было бы...— фюрер замолчал, чтобы глотнуть побольше,—...провести еще один... э-э... митинг в Нюрнберге.

— То есть... для фильма, конечно?

Режиссер смотрел на Гитлера во все глаза. Гитлер разглядывал пену в своей кружке.

— О боже,— сказал продюсер,— знаете ли вы, во сколько бы обошлось воспроизвести этот митинг? Сколько стоил Гитлеру настоящий, Марк?

Он моргнул режиссеру, и тот ответил:

— Кучу денег. Но у него было очень много бесплатных статистов.

— Еще бы! Армия, «Гитлер-югенд».

— Да, все это так,— сказал Гитлер.— Но зато какая будет реклама, на весь мир! Может, поедем все-таки в Нюрнберг... э-э... и снимем мой самолет... э-э... как я спускаюсь с неба? Я слышал, как люди, вон те, только что говорили: Нюрнберг, самолет, факелы. Они помнят. Я тоже помню. Я тоже стоял и держал факел на том стадионе. Боже, это было прекрасно. И как раз теперь мне столько же лет, сколько было Гитлеру в дни его высших достижений.

— А никаких достижений у него никогда и не было,— сказал режиссер.— Если не считать достижением то, что он сдох.

Гитлер поставил кружку на стол. Его щеки зарделись. Потом искусственной улыбкой он растянул губы и изменил себе цвет лица.

— Это шутка, конечно?

— Шутка,— сказал продюсер голосом чревоушателя.

— Я сейчас думал,— заговорил Гитлер, снова обратив взгляд к облакам, будто видя все заново, снова в другом, давно прошедшем году.— Могли бы снять в следующем месяце, если погода позволит. Вообразите себе, сколько туристов приедет посмотреть съемки!

— Угу. Может, даже Борман приедет из Аргентины.

Продюсер опять пронзил режиссера взглядом, теперь рассерженным.

Гитлер откашлялся и неохотно, явно делая над собой усилие, продолжал:

— Что до расходов, то дайте одно небольшое объявление, обратите внимание, о д н о, в нюрнбергских газетах за неделю до начала съемок, и к вам явится целая армия людей, готовых быть статистами за пятьдесят центов в день, нет, за двадцать пять, нет, б е с п л а т н о!

Фюрер залпом опорожнил кружку, заказал другую. Официантка бросилась наливать. Гитлер пристально посмотрел на режиссера и продюсера.

— А знаешь, — сказал режиссер, выпрямляясь, подавшись вперед, между тем как глаза его зажглись недобрый огнем, а зубы обнажились, — есть в тебе какая-то идиотская грация, людоедское остроумие, ублюдочное изящество. И все время из тебя капает какая-нибудь сенсационная слизь, блестит и воняет на солнце — нет, Арчи, черт тебя побери, ты только его послушай! Фюрер только что великолепно справил большую нужду. Скорее астрологов! Вспарывайте голубей, вытаскивайте кишки! Читайте списки, за каким актером какая роль! — Режиссер вскочил на ноги и заходил взад-вперед. — Одно-единственное объявление в газете, и крышки всех кофров в Нюрнберге откинута! Толстые животы — в старой военной форме! На дряблых руках — старые нарукавные повязки! На тупых башках — старые фуражки не то с орлом, не то с черепом!

— Чтобы я сидел и слушал!.. — закричал Гитлер.

Он попытался вскочить на ноги, но продюсер удержал его за локоть, а режиссер, наставив на его сердце, как нож, свой указательный палец, больно им ткнул:

— Сядь.

Лицо режиссера маячило в воздухе перед самым носом Гитлера, всего в двух дюймах от него. Гитлер медленно опустил на стул, на щеках у него проступили капли пота.

— Бог мой, да ты и в самом деле гений. Господи, да ведь соотечественники и в самом деле придут. Не молодые, нет, а те, что в возрасте. Бывшая «Гитлер-югенд», те, кому теперь столько, сколько тебе, и старше, все эти одряхлевшие мешки с дерьмом будут вопить «зиг хайль», выбрасывать руку в нацистском приветствии, жечь в сумерки факелы, маршировать, заливаясь слезами, по стадиону. — Режиссер резко повернулся к продюсеру. — Я тебе говорил, Арч: мозги у этого вот Гитлера куриные, но на этот раз он сообразил хорошо! Если мы не впахиваем в картину митинг в Нюрнберге, я из картины ухожу. Говорю это совершенно серьезно. Встану и уйду, и пусть тогда он, Адольф, берет все в свои руки и сам режиссирует всю эту проклятую затею! Мое выступление закончено.

Он сел.

Продюсер и фюрер были, похоже, в состоянии шока.

— Закажи мне еще одно чертово пиво, — сказал, словно выстрелил, режиссер.

С храпом Гитлер втянул в себя воздух, швырнул на стол нож и вилку и резко отодвинул назад стул.

— Я не стану есть с таким, как вы!

— Что-о, сукин сын, собачонка подхалимствующая? — сказал режиссер. — Я буду держать пойло, а ты будешь лизать. На.

Режиссер схватил кружку с пивом и сунул под нос фюреру. Люди снаружи приглушенно вскрикнули, и их качнуло, как волной, вперед. Гитлер закатил глаза, потому что режиссер схватил его за отвороты мундира и пригнул к кружке.

— Лиж! Лакай немецкую гадость! Пей, ты, подонок!

— Мальчики, мальчики, — сказал продюсер.

— Мальчики, как же! Знаешь, Арчибальд, о чем думает все это время, сидя здесь и попивая твое пиво, эта труба для нечистот, этот нацистский ночной горшок? Сегодня Европа, завтра — весь мир!

— Не надо, не надо, Марк!

— Не надо, не надо, — сказал Гитлер, не отрывая глаз от руки, сжимающей ткань его мундира. — Пуговицы, пуговицы...

— ... болтаются и на мундире и у тебя в голове, червяк. Арч, посмотри, как из него льет! Посмотри, как из его лба вытапливается жир, посмотри на его вонючие подмышки. И в море пота превратился он оттого, что я прочитал его мысли! Завтра — весь мир! Поставьте эту картину с ним в главной роли. Для этого, в частности, через месяц опустите его с облаков. Оркестры. Пылающие факелы. Верните Лени Рифеншталь, пусть покажет нам, как она снимала митинг в тридцать четвертом. Дама-режиссер, друг Гитлера. Пятьдесят кинокамер использовала, пятьдесят, клянусь богом, чтобы заснять все немецкие ничтожества, стоявшие рядами и изрыгавшие ложь, и снять Гитлера, затянутого в скрипящую кожу, и Геринга, пьяного от собственной брехни, и Геббельса, ковыляющего своей походкой раненой обезьяны, трех суперпедерастов истории, выдрючивающихся вечером на стадионе, — устройте, чтобы все повторилось снова и чтобы впереди стоял этот ублюдок, и знаешь ли ты, что происходит сейчас за этим твердым лбом, в его кладбищенском умишке?

— Марк, Марк, — зажмурившись, прошипел сквозь зубы продюсер. — Сядь. Все смотрят.

— Пусть смотрят! А ты проснись! — Он повернулся к Гитлеру. — И ты, гадость, тоже не закрывай глаза! Я сам, чтобы тебя не видеть, закрываю глаза уже много дней. А теперь смотрите все. Получай.

Он плеснул пиво Гитлеру в лицо, и глаза у того широко открылись, и тут же Гитлер закатил их снова, и щеки его зажглись темным аплексическим пламенем.

Люди снаружи ахнули.

Услышав, режиссер насмешливо на них посмотрел.

— До чего смешно! Не знают, кидаться им сюда или нет, не знают, настоящий ты или нет, и я тоже не знаю. Завтра ты, болтливый

ублюдок, и вправду возмечтаешь о том, чтобы стать фюрером.

Он снова плеснул ему в лицо пивом.

Продюсер, отвернувшись на своем стуле, лихорадочно стряхивал с галстука несуществующие крошки.

— Марк, ради бога...

— Нет, серьезно, Арчибальд! Этот парень воображает, что если он напялит на себя грошовую форму да за хорошие деньги будет месяц играть Гитлера, что если мы и в самом деле спляем митинг в Нюрнберге, о боже, История повернется вспять. Те дни, о Время, ты верни ко мне, когда я мог, тупоголовый наци, поджаривать евреев на огне! Нет, ты только представь себе, как эта вошь подходит к микрофонам и начинает вопить, а толпа вопит в ответ, и он на самом деле пытается стать у руля, как будто еще жив Рузвельт, и Черчилль тоже не в шести футах под землей, и снова все орел или решка, но в основном орел, потому что на этот раз они не останутся у Ламанша, а переправятся, пусть даже немецких мальчиков ради этого убавится на миллион и растопчут Англию, растопчут Америку, не это ли воображает сейчас твой маленький арийский череп, Адольф? Разве не это?

Гитлер давился и шипел. Язык у него торчал наружу. Наконец он судорожно дернулся, будто освобождаясь от чего-то, и взорвался:

— Да! Да, черт тебя побери! Побери, изжарь и сожги тебя! Ты осмелился поднять руку на фюрера! Митинг! Да! Обязательно нужно, чтобы он был в фильме! Мы обязательно должны устроить его снова! Самолет! Посадка! Улицы города, очень долго. Очаровательные молодые блондинки. Очаровательные молодые блондины. Стадион. Лени Рифеншталь! И из всех кофров, со всех чердаков нарукавные повязки, черной тучей взмыв над сумерками, летят в атаку, бьются и побеждают! Да, да, я, фюрер, я буду стоять на митинге и буду диктовать условия! Я... я...

Он был уже на ногах.

Люди снаружи, на автомобильной стоянке, кричали.

Гитлер повернулся к ним и выбросил руку вверх в нацистском приветствии.

Режиссер, нацелившись, бросил кулак ему прямо в нос.

И тут же, крича, визжа, толкаясь, падая, в помещение вкатилась толпа.

В больницу они поехали на следующий день, в четыре часа.

Закрывая глаза руками, ссутулившись, старый продюсер вздохнул:

— Зачем, ну зачем мы едем в больницу? Навестить это... чудище?

Режиссер кивнул.

Старик издал стон.

— Безумный мир. Сумасшедшие люди. Никогда не видел, чтобы так бросались, пинались и кусались. Еще немного, и эта озверевшая толпа тебя растерзала бы.

Режиссер облизал распухшие губы и осторожно потрогал пальцем наполовину закрывшийся левый глаз.

— Со мной не так плохо, могло быть хуже. Важно, что я стукнул Адольфа. О, как я его стукнул! И теперь... — Он не отрывал взгляда от дороги. — ... Пожалуй, в больницу я еду для того, чтобы докончить начатое.

— Докончить начатое?

Старик смотрел на него с ужасом.

— Да, докончить начатое, — и режиссер медленно повернул машину за угол. — Вспомни двадцатые годы, Арч, в Гитлера стреляли на улицах и никогда не попадали, страшно избивали, но никогда до смерти, или подложат бомбу в пивную, а он за десять минут до взрыва уйдет, или в том деревянном домике в тысяча девятьсот сорок четвертом году бомба в портфеле взорвалась, а он и на этот раз уцелел. Будто заколдованный. Каждый раз кирпич падал мимо. Ну, а теперь колдовства больше не будет, Арчи, и чудесных спасений тоже. Я иду в больницу, и когда этот недоделанный статист выйдет из нее и его встретит и будет приветствовать толпа фрицев, я сделаю из него soprano на всю жизнь. Не пытайся остановить меня, Арч.

— Да кто останавливает? Двинь его ниже пояса и за меня тоже.

Они остановились перед больницей и увидели, как по ступеням сбегает, что-то крича, с безумными глазами и растрепанными как у безумца волосами один из ассистентов режиссера.

— Боже, — сказал режиссер. — Ставлю сорок против одного, нам не повезло опять. Готов поспорить, этот парень, который бежит к нам, скажет, что...

— Похищен! Исчез! — выкрикнул ассистент. — Адольфа увезли!

— Сукин сын!

Они обошли кругом пустую больничную кровать, они даже ее пощупали.

В углу стояла и ломала руки медсестра. Ассистент захлебывался:

— Трое было их, трое!

— Замолчи. — От белизны простынь у режиссера наступила временная слепота. — Заставили силой или сам пошел?

— Не знаю, не могу сказать, да, он произносил речи, произносил речи, когда они его вводили.

— Произносил речи? — воскликнул старик продюсер и хлопнул себя по лысине. — О боже, мало того, что кафе взыскивает с нас стоимость поломанной мебели, а Гитлер, возможно, взыщ...

— Подожди. — Режиссер шагнул к ассистенту и пристально на него посмотрел. — Т р о е, ты говоришь?

— Трое, да, трое, трое мужчин!

В голове у режиссера вспыхнула маленькая сорокаваттная лампочка.

— У одного из них, э-э, у одного квадратное лицо, массивная нижняя челюсть и кустистые брови?

— Откуда вы это... Да!

— Другой маленький и худой, похожий на шимпанзе?

— Да!

— А третий крупный или, лучше сказать, толстый и рыхлый?

— Как вы узнали?!

Продюсер, глядя на них, растерянно моргал.

— Что происходит? Что происх...

— Глупца тянет к глупцу. Хитрого осла — к хитрой лисице. Пошли, Арч!

— Куда?

Продюсер смотрел на пустую кровать с таким видом, будто не верил, что не видит в ней Адольфа.

— К машине, быстро!

Из кузова машины режиссер вытащил немецкий киносправочник. Нашел указатель актеров на характерные роли.

— Вот.

Старик посмотрел. Сорокаваттная лампочка зажглась теперь и в его голове.

Режиссер стал листать дальше.

— И... вот. И еще — вот.

Они стояли перед больницей на холодном ветру, читая имена под фотографиями, и порывы ветра переворачивали страницы.

— Геббельс,— прошептал старик.

— Актер Руди Штайль.

— Геринг.

— Окорок по имени Грофе.

— Гесс.

— Фриц Дингле.

Старик захлопнул книгу и закричал неизвестно кому:

— Сукин сын!

— Громче и смешнее, Арч. Смешнее и громче.

— То есть прямо сейчас где-то здесь, в этом городе, трое безработных дураков-актеров держат Адольфа, может, даже ради выкупа? И мы будем им платит ь?

— Арч, кончить фильм нам нужно?

— Боже мой, не знаю, столько уже потрачено денег, времени и...—

Старик поежился, как от холода, и закатил глаза.— А что, если... то есть... что, если это не ради выкупа?

Режиссер кивнул и заулыбался.

— То есть — а вдруг это начало Четвертого Рейха?

— Весь мусор в Германии попрыгал бы в мешки, чтобы стать вундерлихней, и заявил бы о себе громкогласно, узнай он только...

— ...что Штайль, Грофе и Дингле, читай: Геббельс, Геринг и Гесс, снова готовы к бою и с ними вместе тупица Адольф Гитлер?

— Безумие, ужас, сумасшествие! Такого не может быть!

— Никто не мог закрыть Суэцкий канал. Никто не мог высадиться на Луне. Когда-то — никто.

— Что нам делать? Ожидание невыносимо. Придумай что-нибудь, Марк, придумай!

— Думаю.

— И..?

На этот раз лицо режиссера осветила изнутри стоваттная лампочка. Он набрал полные легкие воздуха и расхохотался хохотом, похожим на громкое лошадиное ржание.

— Я помогу им организовать и заявить о себе, Арч! Я гений. Пожми мне руку!

Он схватил руку продюсера и, плача от смеха так, что по щекам его бежали слезы, стал трясти ее.

— Марк, ты не хочешь ли сказать, что ты на их стороне, что ты хочешь помочь им создать Четвертый Рейх?!— И продюсер попятился от него.

— Не тюкай меня, а помоги мне. Вспоминай, Арч, вспоминай. Вспомни, что душка Адольф сказал за обедом, и забудь ты наконец о расходах! Ну что, что?

Старик вдохнул побольше воздуха, а потом выпустил, будто раздался тихий взрыв, отблески которого осветили его лицо.

— Нюрнберг?— спросил он.

— Нюрнберг! Какой сейчас месяц, Арч?

— Октябрь!

— Октябрь! Октябрь, сорок лет назад, октябрь, большой митинг в Нюрнберге. И в эту пятницу, Арч, мы устраиваем Юбилейный Митинг. Тискаем объявление в международном издании «Варьете»: **МИТИНГ В НЮРНБЕРГЕ. ФАКЕЛЫ. ОРКЕСТРЫ. ФЛАГИ.** Господи, да его как магнитом потянет! Он перестреляет своих похитителей, лишь бы попасть туда и сыграть величайшую роль в своей жизни!

— Марк, мы не можем себе позволить...

— ...пятисот сорока восьми долларов? За объявление плюс факелы, плюс военный оркестр на пластинке? Черт побери, Арч, дай мне вот тот телефон.

Из-под переднего сиденья машины старик вытащил телефон.

— Сукин сын,— прошептал он.

— Угу.— Режиссер осклабился и набрал первую цифру.— Сукин сын.

Солнце опускалось за ограду Нюрнбергского стадиона. Небо на западе было залито кровью. Еще полчаса, и станет совсем темно, и уже не разглядишь маленький помост посередине поля и несколько темных флагов со свастикой на шестах, поставленных так, чтобы получилась дорожка от одной стороны стадиона к другой. Слышался шум толпы, он нарастал, но на стадионе никого не было. Где-то ухал оркестр, но не видно было и никакого оркестра.

Сидя в первом ряду на восточной стороне стадиона, не снимая рук с панели управления звуком, режиссер ждал. Ждал он уже два часа и теперь начинал чувствовать себя усталым и одуроченным. Он услышал, как продюсер сказал:

— Поехали домой. Все это чистый идиотизм. Он не придет.

И услышал свой ответ:

— Придет. Не может не прийти.

Но сам он в это уже не верил.

Пластинки лежали у него на коленях. Время от времени он брал какую-нибудь из них и ставил на проигрыватель, и тогда из рупоров по обоим концам стадиона начинала бормотать толпа или играл оркестр, не громко, нет — это будет позже — а очень тихо. Потом он снимал пластинку с проигрывателя и принимался ждать снова.

Солнце опустилось ниже. Кровь на облаках стала густо-алой. Режиссер старался не замечать. Грубая ирония природы была ему не по нутру.

Старый продюсер зашевелился наконец и огляделся вокруг.

— Так вот, значит, какое оно, это место. Тогда, в тысяча девятьсот тридцать четвертом, это было как раз то, что им было нужно.

— То самое. Угу.

— Я помню те документальные фильмы. Да, конечно. Гитлер стоял... где? Вон там?

— Там стоял.

— А вон там ребятня и мужчины, а вон там девушки, и работало пятьдесят кинокамер.

— Пятьдесят, ровно пятьдесят. Боже, как жаль, что меня не было там, среди факелов, флагов, людей, кинокамер!

— Марк, Марк, это ты так шутишь?!

— Нет, Арчи, не шучу! Тогда бы я подбежал к душечке Адольфу и сделал с ним то же, что и с этим свинячьим актеришкой. Ударил бы его в нос, потом в зубы, потом в пах! Камеры готовы, Лени? Действие! Х р я с ь! Мотор! Т р а х! Это за Иззи. Это за Айка. Камеры работают, Лени? Прекрасно. Б а х! Можешь печатать!

Они смотрели на огромное пустое бетонированное поле, по которому, подгоняемые ветром, шастали, как призраки, несколько газетных листов.

Вдруг у них перехватило дыхание.

Далеко-далеко, на самых верхних трибунах, появилась фигурка. Режиссера словно приподняло с места, но он тут же заставил себя сесть назад.

В последнем свете дня было видно, что фигурка передвигается с трудом. Как раненая птица, она заваливалась в сторону, и одна рука, согнутая в локте, будто поддерживала бок.

Фигурка остановилась, ожидая чего-то.

— Ну же, — прошептал режиссер.

Фигурка повернулась спиной, готовая обратиться в бегство.

— Нет, Адольф, нет! — прошипел режиссер.

Одна его рука сама собой прыгнула на панель управления звуковыми эффектами, другая — к музыке.

Тихо заиграл военный оркестр.

«Толпа» забормотала и задвигалась.

Адольф далеко наверху окаменел.

Музыка заиграла громче. Режиссер переключил что-то. Гомон толпы стал сильней.

Адольф снова повернулся к ним лицом и вгляделся, прищурившись, в плохо различимое теперь поле стадиона внизу. Наверно, он увидел флаги. А теперь увидел факелы. А теперь — ожидающий его помост с микрофонами, двумя дюжинами микрофонов, среди которых настоящий только один.

Во весь голос ревела медь оркестра.

Адольф спустился на ступеньку.

Толпа неистовствовала.

«Боже, — думал режиссер, глядя на свои руки; то сжимаясь в кулаки, то разжимаясь, они прыгали по верньерам и кнопкам. — Боже, что я сделаю с ним, когда он спустится? Что, что?»

И потом, как в бреду, мысль: «Чушь. Ты режиссер. А это он. И это на самом деле Нюрнберг. Ну, так...?»

Адольф спустился еще на одну ступеньку. Медленно-медленно рука его поднялась и замерла в нацистском приветствии.

Толпа обезумела.

После этого Адольф на своем пути вниз не остановился уже ни разу. Он пытался спускаться величественно по этим сотням ступенек, но это ему не удавалось — он прихрамывал. Ступив, наконец, на поле, он поправил фуражку, отряхнул мундир, еще раз приветствуя ревущую пустоту, поднял руку и заковылял через пустое поле к ожидающемуся его помосту.

Шум толпы стал еще громче. Оркестр откликнулся оглушительным биением меди и ударных.

Душка Адольф прошел в двадцати футах от места в нижнем ряду трибун, где сидел и крутил переключатели режиссер. Тот прыгнул, чтобы Адольф его не увидел. Но нужды в этом не было. Крики «зиг хайль» и звуки фанфар непреодолимо влекли фюрера к помосту, где

ожидала его судьба. Он шел теперь выпрямившись, и хотя форма была помятая, повязка со свастикой надорвана, усики словно изъедены молью, а волосы в беспорядке, это был сам старый Вождь и никто другой.

Вдруг продюсер встрепенулся и подался вперед. Зашептал. Показал рукой.

Далеко наверху, у самого края стадиона, появились трое.

«Боже,— подумал режиссер,— да вот и вся компания! Те, кто захватил Адольфа».

Кустистые брови, раненый шимпанзе и толстяк.

Господи! Режиссер заморгал. Геббельс, Геринг, Гесс. Трое сорвавшихся с цепи, трое недоделанных похитителей пялятся вниз, на... кого?

Адольфа Гитлера, взбирающегося на помост к бутафорским микрофонам и только одному настоящему, между тем как расцветали огненными качающимися цветами факелы, капали смолой и дымили в холодном октябрьском ветре, а над ними, как четыре колокола на четыре стороны света, раскрыли свои зевы громкоговорители.

Адольф закинул голову. Только это и было нужно. Толпа потеряла над собой контроль. Точнее, потеряла над собой контроль, ощутив тоску фюрера, рука режиссера, она судорожно дернулась и включила громкость до предела, и теперь воздух снова, и снова, и снова раздирали, разбивали на куски и разрывали на части крики: «Зиг хайль, зиг хайль, зиг хайль!»

Наверху, у самого края стадиона, каждая из трех фигурок выбросила вверх руку, приветствуя своего фюрера.

Адольф опустил голову. Шум толпы постепенно замер. Теперь не слышно было ничего, только шептали факелы.

Адольф начал речь.

Он вопил, скандировал, ржал как лошадь, брызгал слюной, придушенно хрипел, ломал руки, бил кулаком по помосту, выбрасывал кулак в небо, закрывал глаза, верещал как выпотрошенная фанфара десять, двадцать, тридцать минут, между тем как солнце переваливало по ту сторону земли, а трое наверху, у края стадиона, смотрели и слушали, и смотрели и ждали продюсер и режиссер. Он кричал что-то обо всем мире, вопил что-то о Германии, выкрикивал что-то о себе, проклинал то, винил се, хвалил третье, и потом начал повторять одни и те же слова, как если бы запись внутри него кончилась, и игла, хотя теперь по круговой дорожке, шипела и икала, икала и шипела; а потом — тишина, и в ней только его тяжелое дыхание, но вот оно прервалось вскрипом, и теперь он стоял, уронив голову на грудь, а остальные уже не могли заставить себя на него смотреть и смотрели на свои ботинки, или в небо, или на то, как ветер разметает по полю пыль. Развевались флаги. Факел на одном из

шестов согнулся, будто в корчах, выпрямился, изогнулся снова, что-то забормотал, захлебываясь.

Наконец Адольф поднял голову — нужно было закончить речь.
— Теперь я должен сказать о них.

Он кивнул туда, где наверху, на фоне неба, виднелись три маленькие фигурки.

— Они психи. Я тоже псих. Но я хоть знаю, что я псих. Я говорил им: безумцы, вы безумны. Сумасшедшие, вы сошли с ума. И теперь собственное мое безумие, собственное мое сумасшествие... оно, в общем, из меня ушло. Я устал. Что же теперь? Теперь я отдаю весь мир вам назад. Некоторое время, очень недолго, я был здесь сегодня его хозяином. Но теперь хозяевами его должны стать вы, и нужно, чтобы вы были лучшими хозяевами, чем был бы я. Я отдаю мир каждому из вас, но каждый из вас должен поклясться, что никому не уступит свою в нем роль и сыграет ее честно. Берите.

И он с таким видом протянул здоровую руку к пустым трибунам, как будто она держала весь мир и теперь наконец решила его выпустить.

Толпа зашевелилась, забормотала, но криков не было.

Флаги мягко облизывали воздух. Пламя приседало и дымило.

Вдруг, словно ослепленный страшной головной болью, Адольф надавил пальцами на глаза. Не глядя ни на режиссера, ни на продюсера, он совсем негромко спросил:

— Пора уходить?

Режиссер кивнул.

Хромая, Адольф спустился с возвышения и подошел к месту, где сидели двое.

— Ну, давайте, если хотите, бейте снова.

Режиссер сидел и смотрел на него. Наконец он покачал головой.

— Мы доведем фильм до конца? — спросил Адольф.

Режиссер посмотрел на продюсера. Старик пожал плечами.

— Ну, ладно, — сказал актер. — Так или иначе, безумие прошло, температура упала. Я-таки проиэс свою речь в Нюрнберге. Нет, вы посмотрите только на тех идиотов наверху. Эй, идиоты! — закричал он вдруг тем троим. Потом опять повернулся к режиссеру. — Вы можете себе представить? Они хотели получить за меня выкуп! Я сказал им, что они дураки. Теперь пойду повторю. Мне пришлось от них удрать. Не мог больше выносить их глупую болтовню. Мне непременно нужно было приехать сюда и в последний раз на свой собственный лад развлечь себя собственной своей глупостью. Так что...

Он заковылял прочь по пустому полю и на ходу, обернувшись, сказал негромко:

— Я подожду в вашей машине. Если вам нужно, располагайте мной для заключительных сцен. Если нет, так нет — на этом и кончим.

Режиссер и продюсер ждали, пока Адольф поднимался по ступенькам. До них доносились обрывки ругательств, обращенных

к тем троиц, к человеку с кустистыми бровями, к толстяку и к безобразному шимпанзе, он обзывал их по-всякому, махал руками. Трое начали пятиться — и исчезли.

Адольф стоял теперь один там, наверху, овеваемый холодным воздухом октября.

Режиссер напоследок еще раз усилил для него громкость. Послушная толпа в последний раз прокричала «зиг хайль».

Адольф поднял здоровую руку, но это было уже не нацистское приветствие, а скорее усталая, вялая, наполовину опавшая океанская волна. Потом исчез и он тоже.

Солнечный свет ушел вместе с ним. Небо теперь уже больше не было кровавым. Ветер гонял по полю стадиона пыль и страницы объявлений из какой-то немецкой газеты.

— Сукин сын, — проворчал старик. — Давай отсюда выбираться.

Факелы остались догорать, флаги развеяться, но звуковые эффекты они выключили.

— Зря я не принес пластинку с «Янки дудл», под ее звуки мы бы и ушли, — сказал режиссер.

— Зачем нам пластинка? Насвистим сами. Почему бы и нет?

— А правда, почему бы и нет?

Пока они поднимались, режиссер поддерживал продюсера под локоть, но засвистали они только тогда, когда половина пути вверх осталась позади.

И вдруг, еще не докончив мотив, они оба расхохотались.

ПРОЩАЙ, ЛЕТО

Прощай, лето!
Так выглядела бабушка.
Так повторял дедушка.
Так чувствовал Дуглас.
Прощай, лето!

Эти два слова шевелились на губах у дедушки в то время, как тот стоял на крыльце и глядел на озеро травы перед домом, и уже ни одного одуванчика, и цветы клевера увяли, и деревья тронуты ржавчиной, и настоящее лето позади, а в восточном ветре запах Египта.

— Что? — спросил Дуглас.

Но уже услышал.

— Прощай, лето! — Дедушка облокотился на перила крыльца, зажмурил один глаз, а другой пустил бродить по линии горизонта. — Знаешь, Дуг, что это такое? Цветок, он растет по краям дорог, и название у него под стать сегодняшней погоде. Чертово время все перепутало. Непонятно, почему снова вернулось лето. Забыло что-нибудь? Как-то грустно становится. А потом снова весело. Прощай, лето!

Высохший папоротник у крыльца повалился в пыль.

Дуг подошел и стал около дедушки: может, тот поделится с ним зоркостью, способностью видеть то, что за холмами, желанием разрыдаться, счастьем минувших дней. Но удовольствоваться пришлось запахом трубочного табака и «Освежающего Тигрового Одеколона». В груди у него вертелась юла, то светлая, то темная, то переполнит смехом рот, то наполнит теплой соленой влагой глаза.

— Пойду-ка я съем пончик и посплю, — сказал Дуглас.

— Хорошо, что у вас, в северном Иллинойсе, так принято — набьешь живот и ложишься.

Большая теплая рука тяжело опустилась ему на голову, и от этого юла завертелась быстрее, быстрее и теперь, наконец, была вся одного красивого и теплого цвета.

Дорога к пончикам была вымощена радостью.

Украшенный усиками из сахарной пудры, Дуг раздумывал, не погрузиться ли ему в сон, который, подкравшись сзади, проник к нему в голову и мягко в него вцепился.

В три тридцать пополудни все его двенадцатилетнее тело наполнили сумерки.

Потом, во сне, он встрепенулся.

Где-то далеко оркестр играл странную медленную мелодию; и барабаны и медь звучали приглушенно.

Дуг поднял голову, прислушался.

Музыка стала громче, будто оркестр вышел из пещеры в яркий солнечный свет.

И еще она звучала громче потому, что если перед этим в духовом оркестре было вроде бы всего несколько инструментов, то по мере того как он приближался к Гринтауну, инструментов становилось больше, словно музыканты, размахивая над головой сверкающими на солнце трубами или длинными палками из лакричника, выходили прямо из земли безлюдных кукурузных полей. Где-то взошла, будто прося, чтобы по ней били, маленькая луна, и оказалось, что это литавры. Где-то взлетела с веток, в которых уже сорваны все плоды, и превратилась во флейты-пикколо стайка раздраженных дроздов.

— Шествие! — прошептал Дуг. — Но ведь сегодня не Четвертое июля, и День труда тоже прошел! Тогда почему?..

И чем громче звучала музыка, тем она становилась медленней, глубже и грустней. Будто огромная грозовая туча, проходя низко, накрыла тенью холмы, залила мраком крыши и теперь потекла по улицам. Будто бормотал гром.

Дрожа, Дуглас ждал.

А шествие уже остановилось около его дома.

Зайчики от медных труб влетали в высокие окна и золотыми птицами метались в поисках выхода.

Дуглас посмотрел в окно, стараясь, чтобы его не заметили.

И увидел сплошь знакомые лица.

Дуглас заморгал.

Ибо на газоне перед домом стоял с тромбоном в руках Джек Шмидт, с которым они в школе сидят на соседних партах, и задрал вверх трубу Билл Арно, лучший друг Дугласа, и стоял обвитый трубой, как удавом, мистер Винески, городской парикмахер, и... постой-ка!

Дуглас прислушался.

В нижних комнатах царила мертвая тишина.

Мгновенно он повернулся и сбежал по лестнице вниз. Кухня была полна запахом бекона, но в ней не было ни души. Столовая хранила память о лепешках, но только ветерок в ней шевелил невидимыми пальцами занавески.

Он кинулся к парадному и выбежал на крыльцо. Да, в доме никого не было, зато перед домом яблоку негде было упасть.

Среди музыкантов стояли дедушка с валторной, бабушка с бубном, Попрыгунчик с детской дудочкой.

Едва только Дуг показался на крыльце, как они все оглушительно завопили, и, пока они вопили, Дуглас подумал о том, как все быстро произошло. Ведь только мгновение назад бабушка оставила на доске в кухне вымешанное тесто (на муке, которой оно посыпано, отпечатаны ее пальцы), только мгновение назад дедушка отложил в библиотеке в сторону Диккенса и Попрыгунчик спрыгнул с дикой

яблони. А теперь они стоят в этой толпе друзей, учителей, библиотекарей и четвероюродных братьев с дальних персиковых садов, и в руках у них тоже музыкальные инструменты.

Вопль оборвался, и, позабыв о похоронной музыке, которую играли, пока шли через городок, все стали смеяться.

— Послушайте,— спросил наконец Дуг,— что за день сегодня?

— Что за день? — переспросила бабушка.— Т в о й день, Дуг.

— М о й?

— Твой, Дуг. Особенный. Лучше дня рождения, праздничней Рождества, великолепней Четвертого июля, удивительней Пасхи. Твой день, Дуг, т в о й!

Это говорил мэр, он произносил речь.

— Да, но...

— Дуг... — Дедушка показал на огромную корзину.— Тут для тебя земляничный пирог.

— И песочный земляничный торт,— добавила бабушка.— И земляничное мороженое!

Все заулыбались. Но Дуглас попятился, и у него было чувство, будто он сам огромный торт из мороженого и стоит на солнце, но не тает.

— Фейерверк, когда стемнеет,— сказал Попрыгунчик и посвистел в свою дудочку.— Темнота и фейерверк. И я еще даю тебе свою масонскую чашу, в ней до самого верха светляков, которых я собрал за лето.

— Не узнаю тебя, Попрыгунчик. Что случилось, что ты мне это даешь?

— Сегодня День Дугласа Сполдинга, Дуг. Мы принесли тебе цветы.

Мальчикам цветы не приносят, подумал Дуг, даже в больницу. Но сестры Рамзей протягивали букетики цветов прощай-лето, а дедушка говорил:

— Скорее, Дуг! Стань впереди шествия и веди! Пароход ждет!

— Экскурсионный? Мы поплывем на пикник?

— Я бы назвал это путешествием.— Мистер Винески, парикмахер, одернул фартук, натянул поглубже, чтобы лучше держалась, соломенную шляпу цвета каши из кукурузных хлопьев.— Прислушайся!

С озера, в миле отсюда, донесся тоскливый гудок парохода.

— Шагом марш! — скомандовал дедушка.— Раз, два, Дуг, ну, пошли, раз, д в а!

— Да, но...

Бабушка зазвенела бубном, Попрыгунчик задудел в дудочку, застонала дедушкина валторна, и толпа, двигаясь по кругу, втянула Дуга и увлекла на улицу, как увлекла собак, тявкавших потом впереди и позади шествия всю дорогу до центра городка, а там, чтобы

пропустить шествие, остановился транспорт, люди на тротуарах махали вслед, и кто-то на чердаке «Гринтаунской городской гостиницы» разорвал на мелкие клочки телефонную книгу и выбросил из окна на улицу, но ко времени, когда конфетти из телефонных номеров достигло мостовой, шествие уже спустилось с холма, оставив солнце и городок позади.

Когда все оказались на берегу безмолвного озера, солнце уже заволакивали облака, а с озера быстро надвигался плотный туман, и Дуг, глядя, как он надвигается, испугался — будто от осеннего неба оторвалась огромная грозовая туча и, опустившись, поглотила берег, городок, играющий упоенно оркестр.

Шествие остановилось. Ибо теперь откуда-то из тумана, из-за невидимой пристани, слышался звук огромного приближающегося парохода, скорбно завывающего время от времени голосом маяка-ревуна.

— Ну, скорей, мой мальчик, на пристань, — тихо сказал дедушка.

— Давай наперегонки!

Попрыгунчик кинулся вперед.

Дуглас не шевельнулся.

Ибо пароход уже выходил из тумана, шпангоут за белым шпангоутом, иллюминатор за иллюминатором, и вот он стал в конце пристани и перекинул сходни.

— Почему... — Дуглас уставился на пароход. — Почему у парохода нет названия?

Все посмотрели — и правда, никакого названия на носу длинного белого парохода не было.

— М-мм, видишь ли, Дуг...

Пароход пронзительно загудел, и толпа, зашевелившись, понесла Дугласа по доскам пристани к сходням.

— Дуг, иди п е р в ы й!

— Играйте, пусть он идет под музыку!

И оркестр, подняв вверх тонну меди и двести фунтов колоколов и цимбал, три раза подряд исполнил «Поздравляем, поздравляем, поздравляем мы тебя», и Дуглас оглянуться не успел, как оказался на палубе, а за ним туда вбегали люди, каждый торопливо ставил корзину со съестным и — назад, на пристань...

В а м м!

Сходни упали.

Дуглас повернулся молниеносно, вскрикнул.

Он был на пароходе один. Его друзья и родные остались, как в ловушке, на пристани.

— Постойте, подождите!

Сходни упали не случайно.

И х у б р а л и н а р о ч н о.

— Постойте! — испуганно закричал Дуглас.

— Да, — негромко сказал внизу, на пристани, дедушка. — Постоите.

И тут Дуглас понял: те, кто стоит на пристани, вовсе не в ловушке. Дуглас заморгал.

Это он на пароходе в ловушке.

Дуглас закричал. Пароход пронзительно завыл. Расстояние между пароходом и пристанью начало увеличиваться. Оркестр играл «Колумбия, жемчужина океана».

— Постоите же, ну!

— Пока, Дуг!

— Подождите!

— До свиданья, Дуг, до свиданья! — кричали обе городские библиотекариши.

— Пока, — прошептали все, кто был на пристани.

Дуглас посмотрел на корзины с едой, и ему вспомнился чикагский музей, где несколько лет тому назад он видел египетскую гробницу, а в ней вокруг небольшой, вырезанной из дерева лодки были игрушки и корзины с высохшей от времени едой. Воспоминание обожгло его, как порох, вспыхнувший перед глазами. Он завертелся на месте, как безумный, и закричал.

— Пока, Дуг, пока!..

Женщины махали белыми платочками, мужчины — соломенными шляпами. Кто-то поднял маленькую собачку и помахал ею.

А пароход уплывал от пристани по холодной воде, и туман окутывал его все плотней, и звуки оркестра таяли вдаль, и теперь Дуглас едва различал своих тетушек, дядюшек и близких родственников.

— Подождите! — закричал он. — Еще не поздно! Велите им повернуть назад! Вы тоже можете поплыть со мной на экскурсию! Да, правда, поплывем вместе!

— Нет, Дуг, только ты один, — слышался откуда-то с берега голос дедушки. — Плыви, мой мальчик.

И теперь Дуглас знал, что, кроме него, на пароходе никого нет. Если пробежать по нему и заглянуть во все закоулки, не увидишь капитана, не увидишь старшего помощника, не увидишь никого другого из экипажа. Он один на борту этого парохода, который, тоже совсем один, уходит в туман, между тем как внизу пыхтят и стонут огромные двигатели — эта лишенная разума, занятая собой жизнь.

Как автомат, он двинулся к носу. И вдруг почувствовал уверенность в том, что если ляжет на край палубы и опустит вниз руку, он нащупает на борту название, только что выведенное краской. Почему погода не по времени? Почему снова тепло?

Ответ прост.

Пароход называется «ПРОЩАЙ, ЛЕТО».

И вернулось лето только за ним одним.

— Ду-уг!.. — Голоса доносились все слабее. — До свиданья... пока... пока...

— Попрыгунчик, бабушка, дедушка, Билл, мистер Винески, нет, нет, нет, Попрыгунчик, бабушка, дедушка, спасите!

Но берег был пуст, пристань скрылась из виду, люди разошлись по домам, и пароход, прогудев в последний раз, разбил сердце Дугласу, и осколки слезами падали из его глаз, и он зарыдал, произнося имена всех, кто остался на берегу, и их имена слипились в одно огромное страшное слово, оно сотрясло его душу, и кровь его сердца выплеснулась в одном судорожном вопле:

— Д е д у ш к а бабушка по пры гун чик билл м и с т е р в и н е с к и п о м о г и т е !

И сел в постели, рыдая, и ему было и жарко и холодно.

Он откинулся на спинку, слезы стекали ему в уши, и он плакал, хотя чувствовал, что лежит на своей кровати, плакал, хотя чувствовал на пальцах дергающихся рук и на одеяле из лоскутков благо солнечного света. Закат бесшумно размешал в воздухе комнаты лимонадные тона.

Дуглас перестал плакать.

Он встал и подошел к зеркалу посмотреть, как выглядит печаль, и увидел ее, она впиталась в его лицо и глаза, и теперь останется в них навсегда, никогда из них не уйдет, и он протянул руку дотронуться до этого другого лица за стеклом, и рука в стекле тоже протянулась дотронуться, и она была холодной.

Внизу пекли хлеб, и, как в любой другой вечер, аромат его наполнял дом. Дуглас медленно спустился на первый этаж и поглядел, как бабушка выдирает из курицы интересные внутренности, потом остановился у окна посмотреть, как Попрыгунчик с верхушки своего любимого дерева пытается заглянуть за горизонт, а потом вышел не спеша на крыльцо, и за ним вышел запах хлеба, будто знал, где он, и не хотел с ним расстаться.

Кто-то стоял на крыльце и докуривал свою предпоследнюю в этот день трубку.

— Дедушка, ты здесь!

— Ну конечно, Дуг.

— Уф-ф! Уф-ф, уф-ф! Ты здесь. И дом здесь. И городок здесь!

— Вроде бы и ты здесь, мой мальчик.

— Здесь, да, здесь!

Дедушка кивнул, посмотрел на небо, набрал полную грудь воздуха и уже хотел было сказать что-то, но внезапно Дугласа охватил страх, и он крикнул:

— Не говори!

— Чего не говорить, мой мальчик?

Не говори, думал Дуг, не говори того, что ты собирался сказать.
Дедушка ждал.

Они смотрели, и прямо на глазах у них деревья расстилали на газоне свои тени и переодевались в цвета осени. Где-то последняя газонокосилка лета сбрывала и состригала годы и складывала их дорогими сердцу горками.

— Дедушка...

— Что, Дуг?

Дуглас глотнул, зажмурился и из мрака, которым окружил сам себя, выплеснул:

— Смерть — это когда ты один на парохоме и он отплывает и увозит тебя, а все твои близкие остались на берегу?

Дедушка пожевал услышанное, прочитал несколько облаков в небе, кивнул.

— Примерно так, Дуглас. А почему ты спрашиваешь?

— Просто хотелось знать.

Дуглас проводил взглядом плывущее в высоте облако, которое никогда прежде не было таким, как сейчас, и никогда больше таким не будет?

— Что ты хотел сказать, дедушка?

— Подожди, дай вспомнить. Прощай, лето?

— Да, сэр,— прошептал Дуглас, прижался к этому высокому человеку рядом с ним и, взяв руку старика, крепко прижал к своей щеке, а потом переложил к себе на голову — короной для молодого короля.

Прощай, лето!

МОРСКАЯ РАКОВИНА

Ему хотелось выскочить из дому и побежать, прыгать через изгороди, гонять консервные банки, звать через открытые окна ребят. Солнце стояло высоко, в небе — ни облачка, а он должен был лежать под простынями и одеялами, потеть, хмуриться и сердиться.

Шмыгнув носом, Джонни Бишоп приподнялся и сел. В толстой палке из солнечных лучей, ударившей, чтобы их согреть, по пальцам его ног, висели апельсиновый сок, микстура от кашля и запах духов его матери, которая только что ушла из комнаты. Нижняя половина одеяла из лоскутков, красных, зеленых, лиловых и голубых, была похожа на цирковое знамя. Их пестрота и яркость били в глаза, как в уши бьет крик. Джонни нетерпеливо заерзал.

— Хочу на улицу, — тихо пожаловался он сам себе. — Черт бы все побрал.

Рассыпая прозрачными крыльями сухое стакато и жужжа, об оконное стекло билась муха.

Он посмотрел на нее с пониманием: неудивительно, что ей тоже хочется на улицу! Потом покашлял и пришел к выводу: дряхлые старики так не кашляют, так может кашлять только одиннадцатилетний молодой человек, который через неделю снова будет рвать тайком яблоки в чужих садах и стрелять жеваной бумагой в учителей.

В коридоре быстро и весело застучали по свеженатертому полу каблучки, дверь отворилась, и вошла мать.

— Почему это ты не лежишь, мой друг? — сказала она. — Ложись сейчас же.

— Мне уже лучше. Честное слово.

— Доктор сказал: еще два дня.

— Два?! — Нужно было показать, как он потрясен. — Это обязательно, болеть так долго?

Мать рассмеялась.

— Нет, не болеть... но в постели оставаться. — Она легонько шлепнула рукой по его левой щеке. — Хочешь еще апельсинового сока?

— С лекарством или без?

Мать сделала удивленное лицо.

— С лекарством? Каким?

— Я тебя знаю! Подкладываешь лекарство в апельсиновый сок, чтобы я не заметил. Но я все равно его чувствую.

Мать засмеялась.

— На этот раз — без лекарства.

— А что у тебя в руке?

— А, это? — Мать протянула ему что-то гладкое, переливающееся в лучах солнца, скрученное в спираль. Он взял. Предмет был твердый, блестящий... и красивый.

— Оставил тебе доктор Гулль, он заходил несколько минут назад. Дал, чтобы ты немного развлекся.

Он посмотрел на эту штуковину с некоторым сомнением. Потом погладил ее своей маленькой рукой.

— Как же я развлекусь? Я не знаю даже, что это такое.

Мать улыбнулась — словно солнце засияло в комнате.

— Это, Джонни, морская раковина. Доктор Гулль нашел ее в прошлом году на берегу Тихого океана.

— А, понятно. А откуда она там взялась?

— О, я не знаю. Возможно, очень давно она служила домом для какой-то формы морской жизни.

Его брови поднялись.

— Домом? Значит, кто-то в ней жил?

— Да.

— Нет, правда?

Она повернула раковину в его руке.

— Если не веришь, приложи вот этим концом к уху.

— Вот так? — Он поднес раковину к розовому ушку и крепко прижал ее. — А теперь что делать?

Мать улыбнулась.

— А теперь, если помолчишь и прислушаешься, ты кое-что услышишь.

Он прислушался. Неожутимо открылось его ухо — так раскрывается навстречу свету цветок.

На каменистый берег набежала и разбилась титаническая волна.

— Море шумит! — закричал Джонни. — Ой, мама! Океан! Волны! Море!

Волны накатывались на далекий скалистый берег. Джонни зажмурился и улыбнулся, его личико стало от этого вдвое шире. Грохочущие волны с ревом врывались в маленькое жадное ушко.

— Да, Джонни, — сказала мать. — Ты слышишь море.

День подходил к концу, Джонни лежал на спине, утонув головой в подушке; в ладонях у него, как в колыбели, лежала раковина, и он поглядывал, улыбаясь, в большое окно справа от постели. Был виден весь пустырь на другой стороне улицы. По нему, как потревоженные жуки, носились мальчишки, и было слышно, как они кричат: «Это я убил тебя первый!», «А сейчас я тебя!» Или: «Так нечестно!» Или: «Теперь командовать буду я, а то не играю!»

Казалось, эти голоса звучат где-то вдалеке и, словно качаясь на волнах солнечного света, то приближаются, то удаляются. Солнечный свет был как глубокая, сияющая золотая вода, эта вода лизала берег лета и грозила залить его. Медленная, ленивая, теплая, почти неподвижная. Мир отражался в ней вверх ногами, и все в нем было

замедленно. Медленной тикали часы. Медленно-медленно прокатился по улице пышущий жаром металл трамвая. Будто смотришь кино и у тебя на глазах кадры замедляются и стихает постепенно звук. Все стало мягче и расплывчатей. И ничто больше не имело значения.

До чего хочется выйти и поиграть! Он не сводил с ребят глаз — смотрел, как они в неподвижном зное залезают на заборы, играют в мяч, бегают на роликах. Голова все тяжелела, тяжелела, тяжелела. Веки, как занавес, опустились все ниже, ниже. Морская раковина лежала на подушке около его уха. Он снова прижал ее.

Бух-х — разбивались волны, тр-рр — рассыпались на песке. На желтом песке берега. А когда откатывались назад, на песке оставались пузыри пены, похожие на те, что падают из медвежьей пасти. Пузыри лопались и исчезали как сновиденья. И снова волны и снова пена. И, переворачиваясь в ряби отступающих волн, омытые соленой влагой, разбегались в разные стороны коричневые пятна — песчаные крабы. Буханье холодной зеленой воды, прохладный песок. Звук создавал картины; маленькое тело Джонни оведал легкий бриз. И внезапно жаркий день перестал быть давящим и жарким. Часы затикали быстрее. Скорее залязгал металл трамваев. Глухие удары волн о невидимый сверкающий пляж подстегнули медлительный мир лета, и он ожил и задвигался.

Да, теперь он понял: лучше этой раковины ничего нет на свете. В любой долгий и скучный день только приложи ее к уху — и ты уже проводишь каникулы на далеком, обдуваемом всеми ветрами берегу.

Четыре тридцать, сказали часы. Время принимать лекарство, сказали быстрые звонкие шаги матери в сверкающем коридоре.

Она поднесла к его рту серебряную ложку с лекарством. Вкус, увы, был... какой бывает у лекарства. Джонни скорчил гримасу, заготовленную специально для таких случаев. Чтобы скорее перестать чувствовать этот вкус, он запил молоком, а потом посмотрел вверх, на доброе, светлое лицо матери и спросил:

— Можем мы когда-нибудь поехать на море, мам?

— Конечно. Может быть, на 4 Июля — если твой отец получит свой двухнедельный отпуск в это время. За два дня доедем на машине до берега, проведем там неделю и вернемся.

Джонни сел поудобней: глаза у него были какие-то чудные.

— Я никогда не видел настоящего моря, а только в кино. Готов поспорить, оно и пахнет по-другому и вид у него другой, чем у нашего Лисьего Озера. Оно огромное и в тысячу раз лучше. Так обидно, что нельзя прямо сейчас туда отправиться!

— Ждать недолго, сынок. Вы, дети, такие нетерпеливые.

— Очень хочется.

Она села на кровать и взяла его за руку. Не все, что она сказала, было понятно, но кое-что он все же понял.

— Если бы мне пришлось писать книгу о философии детства, я бы, наверно, назвала ее «Нетерпение». Нетерпение во всем. Вынь да положь — и так всегда. Завтра кажется далеким-далеким, вчера — словно не было. Племя Омаров Хайямов, вот вы кто. Живете минутой. Станешь старше — поймешь, что способность быть терпеливым, ждать, заранее рассчитывать говорит о зрелости, то есть о том, что ты стал взрослым.

— Не хочу быть терпеливым. Не хочу лежать в постели. Хочу на морской берег.

— А на прошлой неделе ты хотел бейсбольную перчатку, сейчас и ни минутой позже! «Пожалуйста, ну пожалуйста! — просил ты.— Ой, какая она красивая, ты только на нее посмотри! И последняя в магазине, на полке больше ни одной не осталось!»

Какая же все-таки она странная, эта мама!

А мать продолжала между тем:

— Помню, однажды, когда я еще была маленькой девочкой, я увидела в магазине куклу. Я показала на нее маме, сказала, что эта последняя, все остальные проданы и эту тоже продадут, если ее не купить сейчас же. На самом деле на полке было не меньше десятка таких кукол. Просто у меня не было сил ждать. Мне тоже не хватало терпения.

Джонни повернулся набок. Глаза его стали широкие-широкие и были полны теперь голубого света.

— Но я не хочу ждать! Если я буду слишком долго ждать, я вырасту, и мне уже не будет интересно.

На это она не сказала ни слова. Она сидела в той же позе, но пальцы ее рук теперь судорожно сжимались, а глаза стали влажными — может быть, из-за того, о чем она думала. Она зажмурила глаза, открыла снова и сказала:

— Иногда мне... кажется, что дети знают о жизни больше, чем мы, взрослые. Кажется, что ты... прав. Но я не решаюсь тебе об этом сказать. Это... как бы не по правилам.

— Каким, мама?

— Цивилизации. Радуйся жизни, Джонни. Радуйся, пока ты ребенок.

Она произнесла это громко, и голос был не такой, как всегда.

Джонни прижал раковину к уху.

— Мама! Знаешь, чего бы мне хотелось? Оказаться прямо сейчас на берегу моря, бежать к воде, держаться за нос и кричать: «Кто последний — обезьяна!»

И он весело рассмеялся.

Внизу, на первом этаже, зазвонил телефон. Мать пошла взять трубку.

Джонни лежал и слушал раковину.

Еще целых два дня впереди. Он опять поднес к уху раковину и вздохнул! Целых два дня! В комнате было темно. В больших квадратах окна томились пойманные звезды. Ветер покачивал деревья. На тротуаре внизу взвизгивали, раскатываясь, ролики.

Он закрыл глаза. Снизу, из столовой, доносился стук ножей и вилок. Отец с матерью ужинали. Вот отец рассмеялся своим звучным смехом.

Волны по-прежнему разбивались одна за другой о берег внутри морской раковины. И... что-то еще слышно:

— Там, где катятся валы, где играет с волной волна, где криком чаек полны утро и вечер дня...

— Что?!

Он замер. Прислушался. Удивленно заморгал.

И еще, чуть слышно:

— ...Солнце на волнах, море без дна, э-гей, э-гей, приналягте, друзья...

Будто сотня, а то и больше голосов пели под скрип уключин.

— ...Придите к морю, где паруса...

И другой голос, совсем отдельный, едва различимый сквозь шум волн и океанского ветра:

— Приди же к морю-циркачу, что за валом бросает вал; к сверканью соли на берегу, по тропе, которой не знал...

Он отнял раковину от уха, изумленно на нее посмотрел. Потом прижал снова.

— ...Ты хочешь ли к морю, мой маленький друг, хочешь ли к морю прийти? Так возьми меня за руку, маленький друг, возьми меня за руку, маленький друг, и вместе со мной иди!

Дрожь, он крепче прижал раковину, приподнялся и сел в постели, часто-часто задышал. Сердце прыгало и билось о стенку его груди.

Волны глухо ударялись о далекий берег и рассыпались брызгами.

— ...Ты когда-нибудь раковину видал? Перламутровый штопор морей, широкий вначале, сходит на нет, вот здесь он вьется, вот тут его нет, но, мой мальчик, конец у него все же есть — там, где камни от пены белей!

Маленькие пальцы вжались в спираль раковины. Да, все правильно. Раковина закручивается, закручивается, закручивается — а потом вдруг ничего нет.

Он закусил губу. Что... что такое говорила мама? Про детей. Про какую-то... философию детей? Про нетерпение. Нетерпение! Да, правда, он нетерпелив! Ну и что в этом плохого? Его свободная рука, сжавшись в твердый белый кулачок, ударила по стеганому одеялу.

— Джонни!

Молниеносным движением Джонни отнял раковину от уха, сунул под простыню. По коридору от лестницы к двери его комнаты приближались шаги отца.

— Спокойной ночи, сынок.

— Спокойной ночи, пап!

Мать и отец крепко спали. Было далеко за полночь. Тихо. Он вытащил бесценную раковину из-под простыней и поднес к уху.

Да, все как было. По-прежнему шумят волны. И вдалеке — скрип уключин, шелканье раздуваемого ветром паруса, слова песни, чуть слышные в порывах соленого морского ветра.

Он прижимал раковину к уху все сильнее и сильнее.

В коридоре застучали каблуки матери. Шаги остановились, она открыла дверь и вошла.

— Доброе утро, сынок! Ты все еще спишь?

Постель была пуста. В комнате — только тишина и солнечный свет. Этот свет лежал в постели как лучезарный больной, и на подушке покоилась его сотканная из лучей голова. Стеганое одеяло, это красно-голубое цирковое знамя, было откинута. Смятая постель была, как бледное старческое лицо в морщинах, и казалась пустей пустого.

Мать нахмурилась и громко топнула.

— Вот шалун! — воскликнула она. — Наверняка убежал играть с соседскими головорезами! Ну, погоди! Потом... — она умолкла и улыбнулась, — ...шалунишка узнает, как крепко я его люблю. Дети так... нетерпеливы.

Она подошла к постели и начала приводить ее в порядок, и вдруг рука наткнулась под простынями на какой-то твердый предмет. Мать вытащила на свет что-то гладкое и блестящее.

Она опять улыбнулась. Это была раковина.

Мать сжала ее в руке и поднесла к уху — просто так. Глаза у нее стали совсем круглые. Рот приоткрылся.

Комната завертелась вокруг нее застекленной каруселью с яркими стегаными знаменами.

Раковина редела ей в ухо.

Волны с грохотом разбивались о далекий берег. Откатывались, оставляя холодную пену на неведомом пляже.

Потом — топот бегущих по песку детских ног. Тонкий мальчишеский голос прокричал:

— Эй, ребята, скорее! Кто последний — обезьяна!

И — звук маленького тела, бултыхнувшегося в эти волны...

В ДНИ ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ

В ту неделю, так много лет назад, мне показалось, будто мои отец и мать дают мне отраву. И даже теперь, через двадцать лет, я не уверен, что мне ее не давали.

То время всплыло из старого чемодана на чердаке. Сегодня утром я оттянул латунные застежки, поднял крышку, и из незапамятных времен пахнуло запахом нафталина; он окутывал, как саван, ракетки без сеток, поношенные теннисные туфли, сломанные игрушки, поржавевшие роликовые коньки. Твои глаза стали старше, но и теперь, когда они видят снова эти орудия игры, тебе кажется, будто только час назад ты вбежал, весь потный, с тенистых улиц и считалка «Олли, Олли, три быка» все еще трепещет у тебя на устах.

Я был тогда странным и смешным мальчиком, и в голове у меня шевелились необычные мысли; рождал их не только страх быть отравленным. Мне исполнилось всего лишь двенадцать лет, когда я начал делать записи в блокноте в линейку с никелевой блестящей обложкой. Будто сейчас в моих пальцах огрызок карандаша, которым я писал по утрам в те дни вечной весны.

Вот я перестал писать и лизнул задумчиво карандаш. Я сижу в своей комнате наверху в начале бесконечного ясного дня, шурюсь на обои в розах, босой, с короткими, похожими на щетину волосами, и думаю.

«Только на этой неделе я понял, что болен,— записал я.— Болею я уже давно. С десяти лет. Сейчас мне двенадцать».

Я скорчил рожу, закусил губу, посмотрел, будто сквозь туман, на блокнот передо мной.

«Больным сделали меня родители. И — я заколебался на миг, но потом стал писать дальше — школьные учителя. Не боюсь я только детей. Ни Изабел Скеллтон не боюсь, ни Уилларда Боуэrsa, ни Клариссы Меллин — они такие же, как всегда. А вот мои дела совсем плохи».

Я положил карандаш на стол. Пошел в ванную — посмотреть на себя в зеркало. Мама крикнула снизу, чтобы я шел завтракать. Я прижался лицом к зеркалу, дыша часто-часто, и на нем появилось большое влажное пятно, как будто зеркало заволочло туманом. И я увидел: мое лицо меняется.

Менялись кости. Глаза. Поры на коже носа. Уши. Лоб. Волосы. Все время они были мной, а теперь становились кем-то совсем другим. («Дуглас, иди завтракать, опаздываешь в школу!»). Торопливо моюсь, я увидел, как внизу, в воде, плавает мое тело. Я был заключен в него, как в тюрьму. Бежать было невозможно. И мои кости в нем двигались, перемещались, менялись местами!

Чтобы об этом не думать, я стал петь и громко насвистывать, пока отец не постучал в дверь и не сказал, чтобы я успокоился и шел есть.

Я сел за стол. На нем уже стояли желтая миска с кашей, молоко в молочнике, белое и холодное, яичница с беконом и поблескивали ножи и ложки; отец читал газету, мама сновала по кухне. Я втянул носом воздух. Мой желудок лег, как побитая собака.

— Что случилось, сынок? — И отец на меня посмотрел. — Совсем есть не хочется?

— Так точно.

— Мальчику утром должно хотеться есть, — сказал отец.

— А ну-ка ешь, — сказала мама. — Принимайся сейчас же. Да поторапливайся.

Я посмотрел на яйца. Яд. Я посмотрел на масло. Яд. Точно так же, как и молоко в молочнике, белое-белое и со сливками сверху, и каша на зеленой тарелке с розовыми цветами, коричневая, рассыпчатая и вкусная.

Все отравя, все-все! Эта мысль металась у меня в голове, как муравьи во время пикника. Я прикусил губу.

— Что? — спросил, моргая, отец. — Ты что-то сказал?

— Ничего, — ответил я. — Просто не хочу есть.

Не мог же я сказать, что заболел и что болезнь эта от еды. Не мог же сказать, что у меня это от печенья, тортов, каш, супов и овощей. И я сидел и не брал в рот ни крошки, между тем как мое сердце стучало все сильней и сильней.

— Ну ладно, хоть молоко выпей и иди, — сказала мама. — Отец, дай ему денег на хороший обед в школе. На апельсиновый сок, мясо и молоко. Но никаких конфет.

О конфетах она вообще могла бы не говорить. Ведь этот яд самый страшный. До конфет я не дотронулся больше никогда в жизни!

Я перевязал ремнями книги и пошел к двери.

— Дуглас, ты не поцеловал меня, — сказала мама.

— Ой, — отозвался я и, волоча ноги, подошел и поцеловал.

— Что с тобой творится? — спросила она.

— Да ничего, — ответил я. — Пока. До скорого, пап.

И мать и отец ответили. Я зашагал в школу, и каждая мысль моя была криком, посланным в глубокий и холодный колодец.

Сбегая в овраг, я ухватился за толстую плеть дикого винограда, свисавшую с дерева, и, оттолкнувшись от земли ногами, качнулся далеко вперед. Земля ушла у меня из-под ног, я вдыхал прохладный утренний воздух, сладкий и пьянящий, и закричал от восторга, и ветер подхватил мои мысли и унес прочь. Я стукнулся ногами о другой склон, не удержался и покатился к ручью, на дно оврага, и птицы свистели мне, а в ветвях соседнего дерева прыгала белка — будто

ветер носил комочек коричневого пуха. Вниз по тропинке скатились маленькой лавиной мальчишки, вопя: «У-уу, э-ээ!» Они били себя кулаками в грудь, швыряли камни так, чтобы те прыгали по воде, бросались, вытягивал вперед руки, за раками. Раки уносились прочь, оставляя за собой мутный след. И я и другие мальчишки шутили и смеялись.

По выкрашенному зеленой краской деревянному мосту через ручей шла девочка. Ее звали Кларисса Меллин. Мы захохотали еще громче, закричали: «Иди, иди отсюда, проваливай!» Но будто что-то застряло у меня в горле, и мой голос сошел на нет, и я стал смотреть, как она идет неторопливо и уходит. Я смотрел на нее не отрываясь, пока она не скрылась из виду.

Из далее утра донесся школьный звонок. Мы полезли вверх по тропинкам, проторенным за столько летних каникул. Трава была изрядно вытоптана; мы знали каждую змеиную нору и каждый бугор, каждое дерево и каждую лозу дикого винограда — да нет, больше того, каждый сорняк! После школы мы строили на деревьях, высоко над быстрым сверкающим ручьем, шалаши, прыгали нагишом в воду, отправлялись в долгие путешествия по дну оврага, туда, где неподалеку от дубильни, асбестового завода и доков ручей так одиноко и сиротливо втекал в огромную голубизну озера Мичиган.

Тяжело дыша, мы уже подбегали к школе, и вдруг мне опять стало страшно, и я остановился.

— Вы идите вперед, а я за вами,— сказал я ребятам.

Завонил второй звонок. Дети побежали в класс. Я смотрел на школу, всю обвитую плющом. Слушал шум голосов, это обычное гуденье. Слушал, как звенят, призывая к тишине, колокольчики в руках у учителей; а потом из окон потянулись ко мне, словно руки, резкие учительские голоса.

Яд, снова подумал я. И дают его детям не только родители, но и учителя! Они тоже хотят, чтобы я болел! Учат, как болеть все больше и больше! И... и... этому р а д о в а т ь с я.

— Доброе утро, Дуглас.

Я услышал стук высоких каблуков по асфальтовой дорожке У меня за спиной, широколицая и бледная, в пенсне, с коротко остриженными волосами, стояла директор школы мисс Адамс.

— Ну, идем,— сказала она, твердо взяв меня за плечо.— Ты уже и так опоздал. Идем.

Она повела меня, раз-два, раз-два, вверх по лестнице, вверх по лестнице, к моей судьбе...

Мистер Джордан был толстяк с редющими волосами, его зеленые глаза всегда смотрели серьезно, и у него была привычка, когда он стоял перед своими таблицами и диаграммами, раскачиваться на пятках. Сегодня он принес изображение человеческого тела в разрезе. Можно было видеть зеленые, синие, розовые, желтые вены, капилля-

ры, мышцы, сухожилия, внутренние органы, легкие, кости и жировые ткани.

Мистер Джордан показал кивком на рисунок.

— Есть очень большое сходство между процессом в раковой опухоли и делением здоровых клеток. Рак — это как бы взбесившаяся нормальная функция. Перепроизводство клеточного материала приводит к...

Я поднял руку.

— Как пища... то есть... отчего тело растет?

— Хороший вопрос, Дуглас.— И он постучал по изображению.— Пища, после того как поступит в организм, расщепляется, усваивается и...

Я слушал и прекрасно понимал, что именно пытается со мной сделать мистер Джордан. Недолгие годы моей предшествующей жизни отпечатались во мне, как отпечатывались на мягком сланце древние растения и животные. Мистер Джордан пытался стереть, загладить отпечаток. И в конце концов все должно стереться, все, во что я верю, и все, что думаю. Мать изменяет мое тело пищей, мистер Джордан делает то же самое словами.

И я, чтобы не слушать, начал рисовать на бумаге. Стал мурлыкать себе под нос, начал придумывать новый, свой собственный язык. До конца дня я уже не услышал больше ни слова. Я отбил нападение, сумел противодействовать яду.

Но после школы я, проходя мимо лавки миссис Сингер, купил большую конфету. Не удержался. И когда съел, написал на обертке: «Это самая последняя конфета, которую я съел в своей жизни. Даже на субботнем сеансе, когда увижу на экране Тома Микса и Тони, я не буду больше есть конфет».

Я посмотрел на груды сладостей на полках — словно собранный в стога урожай. Оранжевые обертки с небесно-голубым словом «ШОКОЛАД». Желтые и фиолетовые с мелко напечатанными на них синими словами. Я чувствовал конфету внутри себя, чувствовал, как мои клетки от нее растут. Каждый день миссис Сингер продает сотни конфет. Так, значит, она тоже участвует в этом заговоре? Неужели она не знает, что происходит от ее конфет с детьми? Почему она это делает? Может, завидует их молодости? Хочет, чтобы они скорей состарились? Я готов был убить ее!

— Что ты делаешь?

Это подошел ко мне сади, пока я писал на обертке, Билл Арно. С ним была Кларисса Меллин. Она смотрела на меня своими голубыми глазами и не говорила ни слова.

Я быстро спрятал бумажку.

— Ничего,— сказал я.

Мы пошли втроем. Вокруг ребята играли в классы, в перышки, гоняли консервную банку, и я повернулся к Биллу и сказал:

— Через год, а может, два нам уже нельзя будет этим заниматься.

Билл рассмеялся только и сказал:

— Еще что! Кто это, интересно, нам запретит?

— О ни, — ответил ему я.

— Кто «они»? — спросил Билл.

— Неважно кто, — сказал я. — Вот увидишь.

— О-о-о, — протянул Билл. — Да ты спятил!

— Не понимаешь! — крикнул я. — Мы играем, бегаем, едим, а они в это время незаметно для тебя делают так, чтобы ты думал по-другому, поступал по-другому и даже двигался по-другому. И вдруг, пожалуйста, — в один прекрасный день ты перестаешь играть и сам начинаешь все время о чем-то думать и тревожиться!

Мое лицо пылало, руки сжались в кулаки. Ярость слепила мне глаза. Билл повернулся и с хохотом зашагал прочь. Кто-то, распевая «Все кончено, все кончено, Анни», перебросил через крышу соседнего дома мяч.

Можно прошататься весь день без завтрака или обеда; ну, а без ужина? Желудок мой вопил, когда я сел тихонько на свое место за столом. Я смотрел вниз, на колени и крепко держался за них руками. Не буду есть, говорил я себе. Посмотрим еще, кто сильнее.

Отец сделал вид, будто меня понимает.

— Не заставляй, пусть идет из-за стола, — сказал он матери, видя, что я не ем. Он подмигнул ей. — Поест потом.

Я провел весь вечер, играя с другими детьми на теплых улицах городка, у кирпичных одноэтажных домов; уже стемнело, а мы все гоняли гремящие консервные банки и лазали по деревьям.

Войдя в десять часов вечера в кухню, я понял: сопротивляться бесполезно. На холодильнике лежала записка: «Ешь, сколько захочешь. Папа».

Я открыл холодильник, и на меня дохнуло морозом и заиндевелой пищей. Я увидел развалины чудесной курицы. Поленицей лежали стебли сельдерея. Из зарослей петрушки выглядывала земляника.

Теперь нельзя было понять, сколько у меня рук. Похоже было, что не две, а целая дюжина. Совсем как у восточных богинь, которым поклоняются в храмах. В одной помидор. Другая ухватила банан. Третья — клубнику! В четвертой, пятой, шестой — маслина, редиска, кусок сыра!..

Через полчаса я опустился на колени перед унитазом и откинул сиденье. Разинул рот и стал проталкивать ложку за язык, в свое сопротивляющееся горло — глубже, глубже...

...Я лежал в постели, радуясь, что сумел избавиться от еды, которую так жадно глотал, и я вздрагивал каждый раз, когда едкий вкус исторгнутого напоминал о себе моему рту. Я лежал дрожащий, опустошенный, снова голодный, но теперь слишком слабый, чтобы есть...

Я был очень слаб и утром и, очевидно, очень бледен, потому что мама обратила на это внимание.

— Если в понедельник не станет лучше,— сказала он,— пойдешь к врачу!

Была суббота. День, когда можно кричать в полный голос и серебряные колокольчики учителей не заставляют тебя умолкнуть; день, когда во мраке длинного зала кинотеатра «Элита» движутся на светлом экране черно-белые гиганты; день, когда дети — просто дети, а не растущие существа.

Не видно было ни души. Раньше, утром, когда я, как все ребята, должен был бы шагать вдоль Северобережной железной дороги, где на уходивших вдаль параллельных полосах металла вскипает жаркое солнце, я вместо этого слонялся, не зная куда податься, ужасающе растерянный. И когда я в конце концов часа в три дня оказался у оврага, в овраге уже никого не было: все мальчишки и девчонки сидели уже в кино, на дневном сеансе, и сосали лимонные леденцы.

Таким первозданным, старым, зеленым, до краев полным одиночества я не видел овраг еще никогда — мне даже стало не по себе. И я еще никогда не видел его таким тихим. С деревьев свисали плети дикого винограда, на дне бежала по камням вода, а высоко на деревьях пели птицы.

Прячась за кустами, останавливаясь и снова пускаясь в путь, я двинулся вниз по тропинке, которую знали только школьники. Подходя к мосту, я увидел, что с той стороны навстречу мне по нему идет Кларисса Меллин. Она возвращалась домой, под мышкой у нее были несколько маленьких свертков. Мы поздоровались смущенно.

— Что ты здесь делаешь? — спросила она.

— Да гуляю просто,— ответил я.

— Один?

— Угу. Все ребята сейчас в кино.

Она помедлила, потом спросила:

— Можно, я погуляю с тобой?

— Конечно,— сказал я.— Пойдем.

Мы пошли вдоль оврага. Он гудел, как большая динамо-машина. Все замерло в оцепенении, ничто не двигалось. Только розовые стрекозы носились, проваливаясь в воздушные ямы, и повисали над искрящейся водой речки.

Мы шли по тропинке, и иногда рука Клариссы задевала мою. Я чувствовал влажный теплый запах оврага и ласковый, знакомый запах Клариссы.

Мы подошли к месту, где тропинки перекрещивались.

— Вон на том дереве мы построили в прошлом году шалаш,— сказал я.

— На котором? — и Кларисса, чтобы увидеть, куда я показываю, шагнула ко мне и теперь стояла совсем вплотную. — Я не вижу.

— Вон на том,— сказал я дрогнувшим голосом и показал снова.

Совсем спокойно она обняла меня рукой и притянула к себе. Я чуть не вскрикнул, до того я удивился и растерялся. Потом трепещущие губы поцеловали меня, но мои руки уже поднялись обнять ее, и я сотрясался в беззвучном крике.

Зеленым куполом сомкнулось над нами молчание. Все так же журчала вода в ручье. Я не мог дышать.

Я знал: все кончено. Я гибну. С этой минуты будут только прикосновения, вкушение яств, язык, алгебра и логика, чувства и жесты, поцелуи и объятия — водоворот, который поймал меня и засасывает в глубину. Я знал, что погиб навеки, и не жалел. Но на самом деле жалел — и смеялся и плакал одновременно, и ничего нельзя было поделать, только обнимать ее и любить, безоглядно и самозабвенно, всей душою, всем телом.

Я мог бы и дальше вести войну против родителей, против школы, против еды, против того, что написано в книгах, но я не мог противиться этой сладости на моих губах, этому теплу под моими руками, этому новому запаху.

— Кларисса,— плакал я, обнимая ее, и глядел невидящими глазами через ее плечо, и шептал: Кларисса, Кларисса!

СПАСИТЕЛЬНИЦА БРАКОВ

Когда на спинку изголовья падали солнечные лучи, она сверкала как фонтан, бросающий вверх яркие перья света. Ее всю украшали лвы, бородастые козлы и получеловеческие лица. Спинка внушала страх даже сейчас, во тьме полуночи, когда Антонио сел на кровать, расшнуровал ботинки и, протянув большую огрубелую руку, дотронулся до тускло поблескивающей лиры посередине. Потом он повалился в эту чудесную машину, изготавливающую сновидения, разлегся в ней, дыша тяжело, и его веки сразу начали слипаться.

— Все ночи,— произнес голос его жены,— мы спим в пасти каллиопы¹!

Ее жалоба поразила его прямо в сердце. Он не сразу посмел дотянуться до узорной спинки кровати и провести мозолистыми концами пальцев по холодному металлу, по струнам лиры, пропевшим за многие годы столько неистовых и прекрасных песен.

— И вовсе это не каллиопа,— сказал он.

— Стонет, как каллиопа,— не отступала Мария.— Миллиард людей на нашей планете спит сегодня ночью в кроватях. Почему, пусть ответят мне святые, миллиард, но не мы?

— И все-таки,— сказал мягко Антонио,— это кровать.

Пальцы его, перебирая струны на медной имитации лиры у него за головой, наиграли коротенькую мелодию. Для его ушей это была «Санта-Лючия».

— Эта кровать вся в горбах, как будто под ней стадо верблюдов.

— Ну-ну, мама,— сказал Антонио. Когда она злилась, он называл ее мамой, хотя детей у них не было.— Ты никогда не была такой,— продолжал он,— стала только пять месяцев назад, когда миссис Бранкоцци под нами купила себе новую кровать.

Мария сказала мечтательно:

— Кровать миссис Бранкоцци. Она как снег. Она плоская, белая и гладкая, вся-вся.

— Да не нужно мне никакого чертова снега, плоского, белого и гладкого! Ты только пощупай эти пружины! — закричал он рассерженно.— Они меня знают. Они считаются с тем, что в этот час ночи я лежу в о т т а к, в два часа — в о т э т а к! В три часа — т а к, в четыре — э т а к! Мы с ней как партнеры-акробаты, работаем вместе уже не один год и знаем все подхваты и падения.

Мария вздохнула и сказала:

— Иногда мне снится, будто мы внутри автомата, делающего ириски в кондитерской Бартоле.

¹ Каллиопа — паровой орган (музыкальный инструмент).— Прим. перев.

— Эта кровать,— заявил Антонио в темноте,— верно служила нашей семье еще до Гарибальди! Из этого источника вышли округа честных избирателей, отряд четко салютующих военных, два кондитера, один парикмахер, четыре вторые партии для «Трубадура» и «Риголетто» и двое гениев настолько гениальных, что так и не смогли решить, что именно им следует делать в жизни! Не говоря уж о многих красавицах, ставших украшением балов. Рог изобилия, вот что такое эта кровать! Настоящий комбайн!

— Мы женаты уже два года,— сказала Мария, и голос ее прозвучал до ужаса ровно.— Где наши вторые партии для «Риголетто», наши гении, наши украшения балов?

— Терпение, мама.

— Не называй меня «мама»! Тобой эта кровать занимается все ночи, зато обо мне она не подумала ни разу. Ей даже девочки для меня жаль.

Он приподнялся и сел.

— Ты позволила женщинам из нашего дома портить тебя своей болтовней о кредите — доллар сразу, по доллару в неделю. У миссис Бранкоцци дети есть? У нее и у этой новой кровати, что стоит в ее спальне уже пять месяцев?

— Нет! Но уже скоро! Миссис Бранкоцци говорит, что... и ее кровать такая красивая!

Он упал на спину и рывком натянул на себя одеяло. Кровать завизжала — такой звук, будто по ночному небу к заре, чтобы в ней исчезнуть, пронесли фурии.

Луна изменила контуры окна на полу. Антонио проснулся. Марии около него не было.

Он встал, пошел к ванной и заглянул в полуоткрытую дверь. Его жена стояла перед зеркалом и смотрела на свое усталое лицо.

— Я не очень хорошо себя чувствую,— сказала она.

— Мы поспорили.— Он протянул руку и легонько похлопал ее по спине.— Прости меня. Мы обдумаем. Насчет кровати то есть. Посмотрим, как у нас с деньгами. И если завтра ты будешь чувствовать себя плохо, сходи к врачу, ладно? А теперь возвращайся назад в постель.

В полдень на следующий день Антонио отправился пешком с лесного склада к витрине, где были выставлены великолепные новые кровати с приглашающе отвернутыми одеялами.

— Я,— прошептал он, когда пришел туда,— чудовище.

Он посмотрел на часы. Мария сейчас должна собираться к врачу. Утром она была, как прокисшее молоко; он сказал ей, чтобы она пошла к врачу обязательно. От витрины с кроватями Антонио отправился дальше, остановился у окна кондитерской и стал смотреть, как

вытягивает, выдавливает и завертывает машина, делающая ириски. «Интересно, вопят ириски или нет? — подумал он. — Возможно, что и да, но так тонко, что мы не слышим». Он засмеялся. Потом в растянутой массе ириса ему померещилась Мария. Нахмурившись, он повернулся и зашагал назад к мебельному магазину. Нет. Да. Нет. Да! Он прижался носом к холодному как лед стеклу. «Кровать, — подумал он, — ты, новая кровать, знаешь ли ты меня? Будешь ли добра ночью к моей спине?»

Медленно он вынул бумажник и уставился на деньги. Вдохнул, посмотрел долгим и пристальным взглядом на мраморный верх ночного столика и на новую кровать, чужую и враждебную. Потом, ссутулившись, сжимая в руке разьежавшуюся пачку банкнот, вошел в магазин.

— Мария!

Прыгая через ступеньку, он взбежал по лестнице. Было девять вечера, он сумел отпроситься ненадолго со своей сверхурочной работы на лесном складе и помчался домой. Дверь в квартиру была открыта, он влетел в переднюю и, лучась улыбкой, обежал комнаты.

В квартире никого не было.

— Вот досада, — сказал он разочарованно.

Он положил товарный чек на комод, чтобы Мария, когда войдет, сразу увидела. В те немногие вечера, когда он работал допоздна, она уходила к какой-нибудь из соседок вниз.

«Пойду разыщу, — подумал он, но остановился. — Нет. Лучше дождусь ее и скажу наедине». Он сел на кровать.

— Старая кровать, — сказал он, — прощай! И, пожалуйста, прости меня.

Он нервно погладил медных львов на спинке изголовья. Встал и заходил по комнате. «Н у с к о р е е, Мария!» Он представил себе, как она заулыбается.

Антонио прислушался, не взбегает ли она быстро, как это ей свойственно, по лестнице, но услышал медленные, мерные шаги. Подумал: «Это не шаги Марии, так медленно моя Мария не ходит никогда!»

Ручка двери повернулась.

— Мария!

— Ты так рано! — Она улыбнулась ему счастливой улыбкой. Неужели догадалась? Неужели прочитала все на его лице? — Я была внизу, — воскликнула она, — всем рассказывала!

— Рассказывала?.. К врачу? — Вид у него был ошарашенный. — Ну, и?..

— И, папа, и...

— Это правда — папа?

— Папа, папа, папа, папа!

— О,— сказал он мягко,— вот почему ты шла по лестнице так медленно.

Он обнял ее, но не чересчур крепко, и поцеловал в обе щеки, и зажмурился, и заорал во весь голос. А потом уже просто невозможно было не разбудить нескольких соседей, не рассказать им, не подняться с постелей, не рассказать снова. Невозможно было не выпить рюмку вина, не потанцевать осторожно, не обнять, не вздрогнуть, не поцеловать в лоб, веки, нос, губы, виски, уши, волосы, подбородок — а потом уже было за полночь.

— Чудо,— вздохнул Антонио.

Они снова были одни, а воздух в комнате был еще теплым от людей, которые только минуту назад здесь ходили, смеялись, разговаривали. Но теперь они снова были одни.

Выключая свет, он увидел чек на комод. Ошеломленный, стал думать о том, как тоньше и приятней преподнести ей эту новость.

Мария сидела в темноте на своей стороне постели, и казалось, что она навеки изумлена. Она двигала руками, как кукла, которую разобрали на части и не успели еще собрать до конца, и все движения ее были такие медленные, будто она живет в полуночных глубинах теплого моря. Наконец, осторожно-осторожно, словно боясь сломаться, она откинулась на подушку.

— Мария, я тебе кое-что хочу сказать.

— Да? — спросила она отсутствующе.

— В своем теперешнем положении,— он сжал ее руку,— ты заслуживаешь уютной, удобной, красивой новой кровати.

Она не воскликнула от радости, не повернулась к нему, не обняла его. Молчание ее было молчанием размышляющим.

Ему ничего не оставалось, кроме как продолжать:

— Это не кровать, а паровой орган, каллиопа.

— Это кровать,— заявила она.

— Под ней спит стадо верблюдов.

— Нет,— тихо сказала она,— из нее выйдут округа честных избирателей, капитанов на три армии, две балерины, знаменитый адвокат, очень высокий полицейский и семь басов, альтов и сопрано.

Он скосил глаза и посмотрел через полутемную комнату на лежащий на комодě товарный чек. Погладил старый матрас, на котором лежал. Пружины под ним, тихо двигаясь, встречали, как старых знакомых, каждую часть его тела, каждую усталую мышцу, каждую ноющую кость.

Он сказал:

— Я никогда не спорю с тобой, маленькая.

— Мама,— поправила она.

— Мама,— повторил он.

А потом, когда закрыл глаза и натянул одеяло себе на грудь, лежа в темноте около того же огромного фонтана, перед судилищем из свирепых металлических львов, янтарных козлов и улыбающихся получеловеческих лиц, он прислушался. И услышал. Сначала очень далеко, очень неуверенно, но чем дольше он слушал, тем становилось отчетливей.

Тихо-тихо кончики пальцев Марии, закинувшей руку за голову, танцевали на сверкающих струнах лиры, на блестящих медных трубах старинной кровати. Мелодия была... да, конечно, — «Санта Лючия»! Его губы задвигались под музыку в теплом шепоте: «Санта Лючия! Санта Лючия!»

Это было прекрасно до необыкновенности.

TYRANNOSAURUS REX

Он открыл дверь в тьму. Чей-то голос крикнул:

— Ну, закрывай же!

Его словно ударили по лицу. Он рванулся внутрь. Дверь за ним хлопнула. Он тихо выругался. Тот же голос полупроговорил-полупропел страдальчески:

— О, боже! Ты и есть Тервиллиджер?

— Да,— ответил Тервиллиджер.

Справа от него, на стене погруженного во мрак зала, смутным призраком маячил экран. Слева плясало в воздухе маленькое красноватое пятнышко — это двигалась зажата в губах сигарета.

— Ты на пять минут опоздал!

«А сказал ты это так, будто я опоздал не на пять минут, а на пять лет», — подумал Тервиллиджер.

— Сунь свою пленку в аппаратную. Ну, пошевеливайся!

Тервиллиджер прищурился.

Он разглядел пять глубоких кресел, четыре из них заполняла администраторская плоть, и она, тяжело дыша и отдуваясь, переливалась через подлокотники к пятому креслу, середине, где почти в полной темноте сидел и курил мальчик.

«Нет,— подумал Тервиллиджер,— не мальчик. А сам Джо Кларенс. Кларенс Великий».

Крошечный рот, выдувая дым, дернулся как у марионетки:

— Ну?

Неуверенно ступая, Тервиллиджер двинулся к киномеханику и отдал ему коробку с пленкой; киномеханик, сделав в сторону кресел непростой жест, подмигнул Тервиллиджеру и захлопнул за ним дверь.

— Господи! — вздохнул тонкий голос. Зазвенел звонок.— Аппаратная, начинай!

Тервиллиджер протянул руку к ближайшему креслу, ткнулся в мягкое и живое, отпрянул и, кусая губы, остался стоять.

С экрана в зал прыгнула музыка. Под громовые раскаты барабанов начался фильм:

Tyrannosaurus Rex: грозный ящер
Объемно-мультипликационный фильм
Куклы и съемка Джона Тервиллиджера
Попытка воспроизвести формы жизни, существовавшие
на Земле за миллиард лет до рождества Христова

Детские ручки в среднем кресле чуть слышно, иронически зааплодировали.

Тервиллиджер закрыл глаза. Новая музыка с экрана вырвала его из забытья. Титры растаяли в мире первобытного солнца, ядовитого дождя и буйной, девственной растительности. Ключья утреннего тумана лежали по берегам вечных морей, и огромные летающие кошмары снова и снова, как коса, срезали ветер. Громадные треугольники из морщинистой кожи и костей, с алмазами глаз и неровными желтыми зубами, птеродактили, эти воздушные змеи, запущенные в небо самым злом, падали на добычу, хватали ее и, почти не поднимаясь над землей, уносили в ножницах ртов свои жертвы и их предсмертные крики.

Тервиллиджер смотрел как зачарованный.

В густых зарослях что-то вздрагивало, трепыхалось, ползло, дергало усиками; и одна лоснящаяся слизь внутри другой, под роговой броней вторая броня, в тени и на полянах двигались рептилии, населявшие безумное, пришедшее к Тервиллиджеру от далеких предков воспоминание о мести, обретшей плоть, и о паническом бегстве в воздух.

Бронтозавр, стегозавр, трицератопс. Как легко падают с губ тяжеловесные тонны этих названий!

Уродливыми машинами войны и разрушения гигантские чудовища шли через овраги с поросшими мхом склонами, каждым шагом своим растаптывали тысячу цветов, рыли мордами туман, пронзительными криками раздирали пополам небо.

«Красавцы мои, — думал Тервиллиджер, — маленькие мои красавчики! Все из жидкого латекса, губчатой резины, стальных костей на подшипниках; все приснившиеся, из глины вылепленные, гнутые и паяные, склепанные, шлепком ладони в жизнь посланные! Половина их величиной с мой кулак, остальные не крупнее этой вот головы, из которой они появились».

— О боже! — сказал кто-то тихо и восторженно в темноте.

Часы, дни, месяцы подряд, шаг за шагом, кадр за кадром, он, Тервиллиджер, проводил созданных им животных через последовательности поз, двигал каждое на крошечную долю дюйма, снимал, передвигал еще на волосок, снимал снова — и теперь дикинские образы на каких-нибудь восьмистах футах пленки проносились через проектор.

«Какое чудо! — думал Тервиллиджер. — Это будет новым для меня всегда. Посмотрите только! Ведь они ж и вы е! Резина, сталь, каучук, глина, чешуя из латекса, стеклянный глаз, клык из фарфора, прыг-скок, топ-топ — и шагом гордым по материкам, еще ноги не знавшим человечей, по берегам морей, еще солеными не ставших, как будто не прошло с тех пор миллиарда лет. Они в п р а в д у дышат! Они в п р а в д у мечут громы и молнии! Как жутко! Такое чувство, будто это собственный мой Сад, и в нем сотворенные мной животные, которых я возлюбил в этот День Шестой, а завтра, в День Седьмой, я отдохну».

— О, боже! — снова произнес тихий голос.

Тервиллиджер едва не отозвался: «Да, я слышу».

— Это великолепная лента, мистер Кларенс, — продолжал голос.

— Возможно, — сказал человек с голосом мальчика.

— Правдоподобно до невероятности.

— Я видел лучшие, — сказал Кларенс Великий.

Все в Тервиллиджере напряглось. Он отвернулся от экрана, где его друзья скатывались в небытие, где гибли одно за другим, как на скотобойне, существа высотой с двухэтажный дом. Впервые он оглядел своих возможных работодателей.

— Материал великолепный.

Похвала исходила от старика, сидевшего в стороне, отдельно; подавшись вперед, он изумленно, во все глаза, глядел на эту древнюю жизнь.

— Идет рывками. Вон посмотрите! — Странный мальчик в среднем кресле привстал, показывая на экран зажатой во рту сигаретой. — Уж это кадр хуже некуда. Вы что, не видите?

— Да, — ответил внезапно устало старик, откидываясь назад и сливаясь снова с креслом, на котором сидел. — Вижу.

Тервиллиджер задушил жаркий гнев, потом утопил его в быстринах своей крови.

— Идет рывками, — повторил Джо Кларенс.

Белый экран, мельканье цифр, темнота; музыка оборвалась, чудовища исчезли.

— Наконец-то! — Джо Кларенс выдохнул дым. — Уже обед скоро. Следующую, Уолтер! Все, Тервиллиджер. — Молчание. — А, Тервиллиджер? — Молчание. — Этот кретин все еще здесь?

— Здесь. — Тервиллиджер изо всех сил вдавил кулаки себе в поясницу.

— О, — сказал Джо Кларенс. — Вообще неплохо. Но не воображай, что деньги потекут рекой. Вчера приходило больше десятка парней, так они показывали материал не хуже, а то и лучше твоего — все пробы для нашего нового фильма «Доисторическое чудовище». Оставь заявку в конверте у секретаря. Выходи в ту же дверь, в какую вошел. Уолтер, какого дьявола ты ждешь? Крути новую!

В темноте Тервиллиджер ободрал ноги о кресло, с трудом нащупал ручку двери, сжал ее крепко.

За спиной у него взорвался экран: потоками мелких камней падала лавина, целые города из гранита, огромные мраморные здания вставали, рассыпались, стекали вниз. В громе падающих камней он расслышал голоса, которые прозвучат через неделю: «Мы заплатим тебе тысячу долларов, Тервиллиджер». — «Но мне нужна тысяча только на одно оборудование!» — «Подумай хорошенько, это для тебя шанс. Хочешь — воспользуйся им, не хочешь — твое дело!»

И слушая, как гром замирает, он уже знал, что воспользуется, и знал, что сделает это с отвращением.

Только когда молчание у него за спиной поглотило лавину всю без остатка и замедлила ход в сердце, домчавшись до неизбежного решения, собственная его кровь, только тогда потянул на себя Тервиллиджер невероятно тяжелую дверь и шагнул в ужасающий, безжалостный свет дня.

Припаяй гибкий позвоночник к извивающейся длинной шее, насади на нее самодельный маленький череп, закрепи на шарнирах нижнюю челюсть, оклей губчатой резиной смазанный в суставах скелет, обтяни пестрой кожей, которую не отличить от настоящей змеиной, заделай тщательно швы, и потом в мире, где безумие, пробудившись ото сна, видит перед собой другое безумие, еще более немислимое, он встанет торжествующе на дыбы. Tyrannosaurus Rex.

Из света электрического солнца вниз скользнули руки Творца. Они опустили чудовище с пятнистой змеиной кожей в сделанную зеленую чащу, повели через кишасщее бактериями вареву. Механический ящер среди всего этого безмолвного ужаса чувствовал себя великолепно. Со слепых небес доносился голос Творца, сад вибрировал от старого монотонного напева: стопу... к голени, голень... к колену, колено... к бедру, бедро...

Дверь распахнулась.

Словно отряд бойскаутов ворвался в комнату — это вбежал Джо Кларенс. С таким видом, будто в комнате никого нет, он дико огляделся вокруг.

— О господи! — завопил он. — Так у тебя, оказывается, еще не все готово? Это стоит мне денег!

— Не стоит ничего, — сухо сказал Тервиллиджер. — Мне заплатят те же деньги, сколько бы я времени ни потратил.

Шаг, остановка, шаг, остановка; так, дергаясь, Джо Кларенс к нему приблизился.

— В общем, поторапливайся. И сделай пострашней, чтоб дрожь пробирала.

Тервиллиджер стоял на коленях возле своих миниатюрных джунглей. Глаза его были вровень с глазами продюсера, и Тервиллиджер спросил:

— Сколько футов крови и предсмертных мук вы хотите?

— Две тысячи футов одного и столько же другого! — Кларенс рассмеялся прерывисто, будто всхлипывая. — Дай-ка посмотрю.

Он схватил ящера.

— Осторожней!

— Осторожней? — Кларенс небрежно и равнодушно вертел страшилище в руках. — Разве чудовище не мое? В контракте...

— В контракте сказано, что вы используете эту куклу для рекламы фильма, но вернете мне, когда фильм будет выпущен.

— Черт-те что написали! — Кларенс махнул рукой, в которой держал чудовище. — Это неправильно. Всего четыре дня как мы подписывали контракты, и...

— Кажется, будто прошло уже четыре года. — Тервиллиджер потер глаза. — Я две ночи не ложился, доделывал эту тварь, чтобы можно было скорее начать съемки.

Кларенс не снизошел до ответа.

— К черту такой контракт! Какая гнусность! Чудовище мое. От тебя и твоего агента у меня сердечные приступы. Приступы из-за денег, приступы из-за оборудования, приступы из-за...

— Кинокамера, которую вы мне дали, старая-престарая.

— Ну так чини ее, если она ломается, ведь руки у тебя есть? Пошевели мозгами — в том-то весь и фокус, чтобы обойтись без денег. Возвращаясь к делу: тварь — и это должно было быть оговорено в условиях — моя и только моя.

— Я никогда не отдаю свои изделия во владение другим, — отрезал Тервиллиджер. — Слишком много времени и чувств в них вложено.

— Ладно, черт побери, мы накидываем тебе за зверюгу еще пятьдесят долларов, и оставляем тебе — бесплатно! — когда фильм будет готов, камеру и прочее оборудование, договорились? Открывай тогда собственное дело. Конкурируй со мной, сведи со мной счеты при помощи моего же оборудования! — Кларенс рассмеялся.

— Если оно до этого не развалится, — сказал Тервиллиджер.

— И еще. — Кларенс поставил куклу на пол и обошел вокруг нее. — Мне это чудовище не нравится.

— Не нравится?! Чем? — взвыл Тервиллиджер.

— Физиономией. Больше огня нужно, больше... свирепости. Больше злости!

— Злости?

— Да, лютости! Пусть выпучит сильней глаза. Круче вырез ноздрей. Острее зубы. Язык вперед, оба конца. Ты сумеешь! Э-э... так, значит, чудовище не мое, а?

— Нет, оно мое.

Тервиллиджер поднялся на ноги.

Теперь вровень с глазами Джо Кларенса была пряжка его ремня. Несколько мгновений продюсер смотрел на блестящую пряжку как загнипнотизированный.

— Будь прокляты эти чертовы юристы!

Он бросился к двери.

— Работай!

Чудовище ударилось в дверь через долю секунды после того, как она захлопнулась.

Рука Тервиллиджера на несколько мгновений застыла в воздухе. Потом плечи его осели. Он пошел к своему красавчику и его поднял. Открутил голову, содрал с нее латексовую плоть, положил череп на подставку и кропотливо начал лепить из глины заново доисторическую морду ящера.

— Побольше свирепости, — бормотал он сквозь зубы. — И злости.

Фильм с переделанным чудовищем просматривали через неделю. Когда кончилось, Кларенс в темноте чуть заметно кивнул.

— Лучше. Но... пострашнее надо, чтобы кровь стыла в жилах. Чтобы тетя Джейн напугалась до смерти. Новый эскиз, и переделать заново!

— Я уж и так опаздываю на неделю, — запротестовал Тервиллиджер. — Вы все приходите и требуете: меняй то, меняй это, и я меняю, один день хвост никуда не годится, другой — когти...

— Уж ты-то сумеешь меня порадовать, — сказал Кларенс. — В бой, художник!

В конце месяца просмотрели новый вариант.

— Почти в точку! Чуть-чуть промазал! — сказал Кларенс. — Лицо почти такое, как нужно. Постарайся еще.

Тервиллиджер отправился к себе в мастерскую. Он принялся за эскиз и изобразил пасть динозавра так, как если бы она произносила непристойность, только понять эту непристойность мог тот, кто умеет читать по губам. Потом, взяв глину, Тервиллиджер принялся за работу и оторвался от страшной головы только в час ночи.

— Наконец то, что надо! — закричал Кларенс в просмотровом зале на следующей неделе. — Идеально! Вот это настоящее чудовище!

Он наклонился к старику, своему юристу, мистеру Глассу, и к Мори Пулу, своему помощнику.

— Вам нравится мое чудовище?

Он сиял.

Такой же длинный, как чудовища, которых он делал, Тервиллиджер, бессильно обмякнув и ссутулившись в заднем ряду, хоть и не увидел, но почувствовал, как старый юрист пожал плечами.

— Да они все одинаковые.

— Да, да, но это все же какое-то особенное! — захлебывался Кларенс. — Даже я готов признать: Тервиллиджер гений!

Все повернулись снова, уставившись на экран, стали смотреть, как исполинская тварь, словно вальсируя, широко размахнулась своим острым как бритва хвостом и сняла им зловещий урожай травы и цветов. Потом остановилась и, обглядывая красную кость, устремила задумчивый взгляд в туман.

— Это чудовище... — Сказал наконец, прищурившись, мистер Гласс. — Кого-то оно напоминает.

— Напоминает? — Тервиллиджер повернулся, весь внимание.

— У него такой вид... — протянул в темноте мистер Гласс. — Похоже, я его где-то встречал.

— Среди экспонатов Музея естествознания?

— Нет, не там.

— Может, — рассмеялся Кларенс, — когда-то случилось чудо и ты осилил какую-то книгу, Гласс?

— Удивительно... — Гласс, ничуть не задетый, наклонил набок голову, закрыл один глаз. — Я как сыщик никогда не забываю лиц. Но этот *Tyrannosaurus Rex*... где же я его видел?

— Да не все ли равно? — Кларенс сорвался с места. — Он потрясающий! И только потому, что я, добываясь результата, пинал Тервиллиджера ботинком в зад. Мори, пошли!

Когда дверь закрылась, мистер Гласс повернулся к Тервиллиджеру и на него посмотрел. Не отводя от Тервиллиджера взгляда, он окликнул негромко киномеханика:

— Уолт! Уолтер! Будь добр, покажи нам зверюгу снова!

— О чем разговор!

Тервиллиджер заерзал, чувствуя, что какая-то невидимая сила становится одинаково зримой в темноте и в резком свете, выстрелившем снова для того, чтобы от экрана в зал рикошетом отлетел ужас.

— Да-да. Точно, — размышлял вслух мистер Гласс. — Еще немного, и вспомню. Еще немного, и узнаю. Но... к то?

Словно услышав его голос, чудовище повернулось, и на какой-то миг презрительный взгляд его, пройдя сквозь сто тысяч миллионов лет, остановился на двух человечках, прячущихся в темной комнате. Машина смерти прогрохотала свое имя.

Словно для того, чтобы расслышать, мистер Гласс подался вперед. Все поглотила тьма.

Месяца через два с половиной после начала работы над фильмом, когда картина была уже наполовину готова, Кларенс позвал кое-кого из своих служащих и нескольких друзей, всего человек тридцать, посмотреть черновой вариант фильма.

Фильм шел уже пятнадцать минут, когда по рядам небольшого зала пробежал приглушенный возглас удивления.

Обернувшись, Кларенс окинул всех молниеносным взглядом.

Мистер Гласс, в соседнем кресле, окаменел.

Не зная почему, Тервиллиджер с самого начала остался около выхода; он не понимал, откуда его тревога, но ничего не мог с собой поделать. Не снимая руки с ручки двери, он следил за тем, что происходит в публике.

Еще одно приглушенное восклицание пробежало по рядам.

Кто-то негромко рассмеялся. Хихикнула какая-то секретарша. Потом воцарилось молчание.

Ибо Джо Кларенс вскочил с места.

Его маленькая фигурка рассекла экран. Несколько мгновений в темноте жестикулировали два образа: тираннозавр, отрывающий ногу у птеранодона, и Кларенс, вопящий, насакивающий на экран, как будто он хотел схватиться с этими неправдоподобными тварями.

— Стой! Остановить на этом кадре!

Лента остановилась. Изображение застыло.

— Что случилось? — спросил мистер Гласс.

— Случилось? — Казалось, будто Кларенс хочет закрыть собой экран. Он вытянул свою детскую ручку насколько мог вверх, ткнул в грозную челюсть, в глаз, в клыки, в лоб, потом повернулся лицом к ослепляющему свету проектора, и его пышущие яростью щеки покрылись чешуей пресмыкающегося. — Что здесь происходит? Что это такое?

— Чудовище, шеф, что же еще?

— Как же, чудовище! — Кларенс застучал по экрану кулачком. — Это я!

Половина присутствующих наклонилась вперед, половина откинулась назад, двое вскочили на ноги, и один из двоих, мистер Гласс, жмурясь и судорожно нащупывая в кармане вторую пару очков, простонал:

— Так вот где я его видел раньше!

— Что-что вы раньше?

Не разжимая век, мистер Гласс тряхнул головой.

— Это лицо... я так и знал, что оно знакомое.

В зале подул ветер.

Все обернулись. Дверь была распахнута настежь.

Тервиллиджер исчез.

Они нашли Тервиллиджера в мастерской — он очищал рабочий стол, сбрасывая все в большую картонную коробку, и под мышкой у него была зажата кукла тираннозавра. В комнату ворвалась небольшая толпа во главе с Кларенсом, и Тервиллиджер поднял голову и посмотрел на них.

— Чем я заслужил это? — взвизгнул Кларенс.

— Простите меня, мистер Кларенс.

— «Простите»! Разве я мало тебе платил?

— По правде говоря, мало.

— Водил тебя обедать...

— Один раз. Счет оплатил я.

— Приглашал тебя к себе ужинать, ты купался в моем бассейне, и за все это... Ты уволен!

— Я и так уволен, мистер Кларенс. Последнюю неделю я работал бесплатно и сверхурочно, вы забыли выписать мне чек...

— Все равно ты уволен, да, уволен по - н а с т о я щ е м у! И никто в Голливуде тебя больше не возьмет. Мистер Гласс! — Кларенс повернулся на пятках, ища глазами старика. — Подайте на него в суд!

— Ничего, — сказал Тервиллиджер, и больше он уже не поднимал на них глаз, а смотрел вниз, на вещи, которые укладывал, — ничего вам у меня не высудить. Деньги? Того, что вы мне платили, и на жизнь-то едва хватало — куда уж там откладывать! Дом? Я никогда не мог купить его. Жену? всю жизнь я работаю на таких, как вы. Так что жены исключаются. Я человек ничем не обремененный. Мне вы ничего не сделаете. Наложите арест на моих динозавров — зареюсь в каком-нибудь захолустье, куплю латекса, наберу речной глины, металлических трубок и сделаю новых чудовищ. Накуплю пленки. У меня есть старая цейтраферная кинокамера. Отнимите ее — собственными руками сделаю новую. Я умею делать все. Поэтому я вас не боюсь.

— Ты уволен! — завизжал Кларенс. — Смотри на меня. Не отводи глаза в сторону. Ты уволен! Уволен!

— Мистер Кларенс, — сказал мистер Гласс, незаметно подвигаясь ближе. — Позвольте мне поговорить с ним минутку.

— Еще с ним говорить! — фыркнул Кларенс. — А какой толк? Вот смотрите, стоит с чудовищем под мышкой, и проклятая тварь похожа на меня как две капли воды — так пропустите меня!

Кларенс пулей вылетел в коридор. За ним последовала свита.

Мистер Гласс затворил дверь, подошел к окну и посмотрел на чистое, но уже темнеющее небо.

— Хоть бы дождь пошел, — сказал он. — Вот с чем я никак не могу примириться в Калифорнии. Хоть бы прослезилась, поплакала. Вот прямо сейчас, чего бы я не дал за что-нибудь, хотя бы самое пустячное, с этого неба? Ну, за вспышку молнии, на худой конец.

Он замолчал, продолжая стоять, а Тервиллиджер стал укладывать вещи медленней. Мистер Гласс опустился в кресло и, вода карандашом в блокноте, заговорил печально, вполголоса, как бы обращаясь к самому себе:

— Шесть частей фильма, совсем неплохие шесть частей, готовая половина картины, трехсот тысяч долларов как не бывало, здравствуй и прощай. Все, кто был занят в фильме, теперь на улице. Кто накормит голодные рты, накормит мальчиков и девочек? Кто объяснит все акционерам? Кто улестит «Американский банк»? Есть желающие сыграть в русскую рулетку?

Он повернулся и стал смотреть, как Тервиллиджер защелкивает замки портфеля.

— Что содеял господь?

Внимательно разглядывая свои руки, поворачивая их, словно хотел увидеть, из чего они сделаны, Тервиллиджер сказал:

— Я не знал, что у меня так получилось, клянусь. Пальцы как-то сами по себе... Бессознательно, от начала до конца. Мои пальцы все делают сами. Сделали и на этот раз.

— Лучше бы эти пальцы явились ко мне в кабинет и взяли меня за горло,— сказал Гласс.— Ничего напоминающего замедленную съемку я никогда не любил. Жизнь, да и смерть тоже, я всегда представлял себе как игровой автомат «Пенсильванская полиция», когда полицейские мчатся на третьей скорости. Это подумать только: на нас наступило резиновое чудовище! Мы теперь как зрелые томаты — дави и запаивай сок в банки!

— Перестаньте, я и так уже чувствую себя виноватым дальше некуда,— сказал Тервиллиджер.

— А чего вы хотите? Чтобы я пригласил вас с собой на танцы?

— Вообще получилось справедливо! — вырвалось у Тервиллиджера.— Ведь он мне не давал покоя. Сделай так. Сделай этак. Выверни наизнанку, говори он, переверни вверх тормашками. Я проглатывал свою желчь. Все время злился. И, наверно, сам того не замечая, изменил лицо чудовища. Но понял я это только пять минут назад, когда поднял крик мистер Кларенс. Во всем виноват я один.

— Нет,— вздохнул мистер Гласс,— странно, как этого не видели мы все. А может, и видели, но не хотели в этом себе признаться. Может, видели и смеялись во сне всю ночь напролет, тогда, когда нам самих себя не слышно. Ну, и в каком мы теперь положении? Если говорить о мистере Кларенсе, то он вложил деньги, а ими не бросаются. Вам надо подумать о своей будущей карьере — хорошо ли она сложится, плохо ли, но этим тоже не бросаются. Сейчас, в эту самую секунду, мистер Кларенс жаждет одного: поверить, что все это лишь страшный сон и ничего более. Жажда эта, девяносто девять ее процентов, терзает прежде всего его бумажник. И если вы сможете в ближайший час потратить всего один процент своего времени и убедить его в том, о чем я вам сейчас скажу, умоляющие глаза не будут завтра утром смотреть на нас из объявлений «ищу работу» в «Голливудском репортере» и «Варьете». Если бы вы пошли и сказали ему...

— Сказали мне что? — Джо Кларенс, вернувшийся, стоял в дверях, и щеки его по-прежнему пылали.

— Да то, что он только что сказал мне,— спокойно повернулся к нему мистер Гласс.— Очень трогательная история.

— Я слушаю!

— Мистер Кларенс.— Старый юрист тщательно взвешивал каждое свое слово.— Фильмом, который вы только что видели, мистер Тервиллиджер выразил уважение и восхищение, которые вы в нем вызываете.

— Выразил что?! — крикнул Кларенс.

У обоих, и у Кларенса и у Тервиллиджера, отвисла челюсть. Устремив взгляд в стену и, если судить по голосу, робея, старый юрист спросил:

— Я... могу продолжать?

Рот Тервиллиджера закрылся.

— Как хотите.

— Этот фильм, — юрист встал и взмахом руки показал в сторону просмотрового зала, — родился из чувств глубокого уважения и дружбы к вам, Джо Кларенс. За своим письменным столом, невоспетый герой кинопромышленности, невидимый, никому не известный, вы влачите свою незаметную одинокую жизнь, а кому достается слава? Звездам. Часто ли бывает, что где-нибудь в Атаванда Спрингс, штат Айдахо, человек говорит жене: «Знаешь, вчера вечером я думал о Джо Кларенсе — замечательный все-таки он продюсер»? Скажите, часто? Хотите, чтобы я сам сказал? Да никогда вообще! И Тервиллиджер стал думать: как представить миру настоящего Кларенса? Он посмотрел на динозавра, и — бах! — Тервиллиджера озарило! «Да вот же оно, то, что надо, — подумал он, — у мира поджилки затрясутся от ужаса, вот одинокий, гордый, удивительный, страшный символ независимости, могущества, силы, животной хватки, истинный демократ, индивидуальность на вершине своего развития!» — сверкает молния, гремит гром. Динозавр: Джо Кларенс. Джо Кларенс: динозавр. Человек, воплотившийся в Ящера-Тирана!

Дыша тихо и прерывисто, мистер Гласс сел.

Тервиллиджер хранил молчание.

Наконец Кларенс двинулся с места, пересек мастерскую, медленно обошел вокруг Гласса, потом, бледный, остановился перед Тервиллиджером. По высокой, худой, как скелет, фигуре взгляд его прополз вверх, и глаза говорили о неловкости, которую он испытывает.

— Ты так сказал? — спросил он чуть слышно.

Казалось, что Тервиллиджер пытается что-то проглотить.

— Сказал мне. Он страшно застенчивый, — бойко заговорил мистер Гласс. — Слышали вы когда-нибудь, чтобы он много разговаривал, огрызнулся, ругался? Или что-нибудь подобное? Он не утверждает, что очень любит людей. Но увековечить? Это пожалуйста!

— Увековечить? — переспросил Кларенс.

— А что еще? — сказал старик. — Воздвигнуть памятник, только движущийся. Пройдет много лет, а люди будут говорить: «Помните тот фильм, «Чудовище из плейстоцена»?» И другие ответят: «Ну конечно! А что?» «А то, — скажут первые, — что только это чудовище, только этот зверь, один за всю историю Голливуда, был по-настоящему крепок духом, по-настоящему мужествен». «Почему?» «Да потому, что у одного гения хватило гениальности взять прообразом этой твари подлинного, хваткого, умного бизнесмена самого крупного калибра». Вы войдете в историю, мистер Кларенс. Будете широко представлены во всех фильмотеках. Киноклубы будут заказывать вас без конца. Чей успех мог бы сравниться с вашим? Иммануэло Глассу, юристу, такого не дожидаться. Каждый день в ближайшие двести, пятьсот лет где-то на земле будет идти фильм, в котором главная роль — ваша!

— К а ж д ы й день? — тихо переспросил Кларенс. — В ближай-
шие...

— Может, даже восемьсот, почему бы и нет?

— Я никогда об этом не думал.

— Так подумайте!

Кларенс подошел к окну и устремил взгляд на холмы Голливуда; наконец он кивнул.

— Боже, Тервиллиджер, — сказал он. — Я и в самом деле так вам нравлюсь?

— Трудно выразить словами, — ответил, запинаясь, Тервиллиджер.

— Ну, так создадим мы или нет это потрясающее зрелище? — спросил Гласс. — Зрелище, где в главной роли, шагая по земле и повергая всех в дрожь, выступает Его Величество Ужас — сам мистер Джозеф Дж. Кларенс!

— Да. Конечно. — Кларенс побрел, ошеломленный, к двери, около нее заговорил снова: — Знаете что? Я в с е г д а хотел быть актером!

Он вышел в коридор и неслышно закрыл за собой дверь.

Тервиллиджер и Гласс стукнулись друг о друга, когда, кинувшись к письменному столу, вцепились жадными пальцами в один и тот же ящик.

— Уступи дорогу старшему, — сказал юрист и сам извлек из стола бутылку виски.

В полночь, после того как кончился закрытый просмотр «Чудовища из каменного века», мистер Гласс вернулся в студию, где все должны были собраться, чтобы отпраздновать выпуск фильма, и обнаружил Тервиллиджера в его мастерской — он сидел один, и динозавр лежал у него на коленях.

— Вас там н е б ы л о? — изумился мистер Гласс.

— Я не решился. Скандал был грандиозный?

— Скандал?! В восторге, все до единого! Чудовища прелестней не видел никто и никогда! Уже говорилось о новых сериях. Джо Кларенс — Ящер-Тиран в «Возвращении чудовища каменного века», Джо Кларенс — тираннозавр в... ну, скажем, «Звере давно минувших веков», и...

Зазвонил телефон. Тервиллиджер взял трубку.

— Тервиллиджер, это Кларенс! Буду через пять минут! Замечательно! Твой зверюга великолепен! Потрясающий! Теперь он мой? То есть к черту контракты, просто как любезность с твоей стороны, могу я получить его и поставить к себе на камин?

— Мистер Кларенс, чудовище ваше.

— Награда лучше «Оскара»! Пока!

Тервиллиджер смотрел на умерший телефон.

— Благослови нас всех господь, сказал малютка Тим, — проговорил он наконец. — Он смеется, он в истерике от радости.

— Возможно, я знаю почему,— сказал мистер Гласс.— После просмотра у него попросила автограф девочка.

— Автограф?

— Сразу как он вышел, прямо на улице. Заставила его подписать свое имя. Первый автограф в его жизни. Он смеялся, когда писал. Его узнали! Вот он, перед кинотеатром, Рех собственной персоной, в натуральную величину, так пусть подписывается! Он и подписался.

— Подождите,— медленно проговорил Тервиллиджер, наливая виски себе и Глассу.— Эта девочка...

— Моя младшая дочь,— сказал Гласс.— Так что кто узнает? И кто расскажет?

Они выпили.

— Не я,— сказал Тервиллиджер.

Потом один из них взял динозавра за правую переднюю лапу, другой за левую, и, прихватив с собой виски, они вышли к воротам студии ждать, когда появятся лимузины — в фейерверке огней, гудков и радостных вестей.

В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
В 1983 г. ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

1. С. МИХАЛКОВ. Три сказки...
2. РАСУЛ ГАМЗАТОВ. Очарованный всадник. *Стихи.*
3. Э. ХЕМИНГУЭИ. «...И оставаться самим собой...» (*перевод с английского*)
4. А. АРЗУМАНЯН. От Арарата до Монблана. *Очерк.*
5. И. ПАНОВА. Беспокойное счастье. *Стихи.*
6. И. ДЕМЬЯНОВ. Солдатская подушка. *Стихи.*
7. Н. ФЛЕРОВ. Черемуха. *Стихи.*
8. М. ЛЮБОМУДРОВ. Судьба традиций. *Статьи.*
9. М. ТАЛЬ. Когда оживают фигуры. *Очерк.*
10. С. ЛЫКОШИН. На дорогах истории. *Статьи.*
11. В. САФОНОВ. Вступление в мир. *Страницы воспоминаний.*
12. З. СКУИНЬ. Большая рыба. *Перевод с латышского.*
13. З. ХИРЕН. Дневник фронтового корреспондента.
14. Е. ШЕВЕЛЕВА. Память. *Стихи.*
15. Б. ИВАНОВ. Соседи по времени. *Новеллы.*
16. И. ЛЯПИН. Линия судьбы. *Поэма.*
17. В. РЯБОВ. Читая военные мемуары.
18. С. КУНЯЕВ. По белому свету. *Стихи.*
19. С. ГЕЙЧЕНКО. Сердце оставляю вам. *Рассказы.*
20. ДЖОН БОЙНТОН ПРИСТЛИ. Гендель и Гангстеры. *Перевод с английского.*
21. С. ГОРОДЕЦКИЙ. Воздушный витязь. *Стихи.*
22. А. ГИДАШ. Лирика.
23. А. КОЗЛОВСКАЯ. Свекровь. *Рассказы.*
24. О. КОЖУХОВА. Пока живы, пока не забылось.
25. В. БЕЛЕЦКАЯ. Хирурги.
26. Ю. МЕЛЬНИКОВ. Долина жизни. *Стихи.*
27. С. ВОРОНИН. Раскопельские камни. *Рассказы.*
- 28 — 29. ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ. Прощай, не та Америка. *Роман.*
Перевод с английского.
30. И. ДОЛГОПОЛОВ. Эль Греко.
31. Н. ЛАВКОВСКИЙ. Невыполнимые задания.
32. В. СМИРНОВ. Берег бытия. *Стихи.*
33. В. ПАВЛОВ. Партизанские были. *Рассказы.*
34. Ю. ДРУНИНА. Мы обетам верны. *Стихи.*

35. Н. САЦ. Идем за синей птицей. *Очерк Нины Толченовой.*
36. И. ЛАЗУТИН. Бабкин лазарет. *Повесть и рассказ.*
37. Г. НЕМЧЕНКО. Хоккей в сибирском городе. *Рассказы.*
38. М. СТЕПИЧЕВ. Фронт, где нет передышки.
39. С. КАПУТИКЯН. Часы ожидания. *Стихи. Перевод с армянского.*
40. МОСТЫ ДРУЖБЫ. *Стихи советских поэтов.*
41. Ц. СОЛОДАРЬ. Фарисеи. *Из цикла публицистических очерков.*
42. Пять рассказов советских писателей, публиковавшиеся на страницах «Огонька».
43. Н. ФЕДОРЕНКО. Морские записи.
44. Г. ГУЛИА. Поездка в кино. *Рассказы.*
45. О. ГЕРАСИМОВ. Йеменские зарисовки.
46. ФАИЗ АХМАД ФАИЗ. Посвящение. *Стихи. Перевод с урду.*
47. Л. УВАРОВА. Речной жемчуг. *Рассказы.*
48. С. ЛОСЕВ, В. ПЕТРУСЕНКО. Месть по-американски.
49. Г. КОЧЕТКОВ. Лесная музыка. *Рассказы.*
50. С. ЯМЩИКОВ. Радость открытия. Записки художника-реставратора.
51. Н. АЛЕКСЕЕВА. Ваш выход, артист!
52. Р. БРЭДБЕРИ. Спасительница браков. *Рассказы. Перевод с английского.*

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Идеальное убийство	3
Душка Адольф	10
Прощай, лето	24
Морская раковина	31
В дни вечной весны	37
Спасительница браков	44
Tyrannosaurus Rex	49

Рэй Дуглас Брэдбери

СПАСИТЕЛЬНИЦА БРАКОВ

Редактор Ю. С. Новиков

Технический редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 28.10.83. Подписано к печати 05.12.83.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 4,00. Тираж
100 000 экз. Изд. № 2959. Зак. № 1661. Цена 40 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва,
А-137, ул. «Правды», 24.

Цена 40 коп.

Индекс 70668

РИГА. 110



Магнитолы — один из самых популярных видов бытовой радиоаппаратуры. Представляем модель, выпускаемую рижским производственным объединением «Радиотехника», — «Рига-110».

Этот комплекс состоит из радиоприемника, работающего в диапазонах средних, коротких и ультракоротких волн, и кассетного магнитофона, так что понравившуюся передачу можно сразу записать на магнитную ленту.

Аппарат снабжен встроенным микрофоном, ограничителем шума.

С помощью счетчика ленты можно легко найти нужную запись. Уровень записи регулируется автоматически. Питание универсальное — от сети или шести элементов «373».

Цена аппарата — 310 руб.

УПРАВЛЕНИЕ «ОРБИТА»

